



Вера Галактионова

**На острове
Буяне**

Вера Галактионова

На острове Буяне

«ИТРК»

2013

Галактионова В. Г.

На острове Буяне / В. Г. Галактионова — «ИТРК», 2013

Когда-то, в незапамятные времена, село Буян располагалось на недостижимом острове, о чём говорит местное предание. Теперь это берег таёжной реки, диковинная глухомань, в которую не заманишь благоразумных людей, – там «птицы без голоса, цветы без запаха, женщины без сердца». Неприветливое село крепко ограждено от внешнего мира – хозяйским древним укладом и строгими заветами старины. И только нечаянное появление в селе городского проходимца вносит разноту в устоявшийся быт. Разбойничья народная вольница и жертвенность, угрюмый провинциальный навык уклонения от новшеств и склонность к самосуду – все эти противоречия русской жизни сплетаются в тугой узел трагедии здесь, где сообща, на свой лад, решают, как уберечь село от участи Кондопоги и Сагры. И только близость природного человека к чуду выводит действие романа из череды страшных событий к свету.

© Галактионова В. Г., 2013

© ИТРК, 2013

Вера Галактионова На острове Буяне

© В. Г. Галактионова, 2013

© Издательство ИТРК, 2013

[[[* * *]]]

<image l:href="#_01.jpg"/>

[[[* * *]]]

Чужой продрогший человек бродил бесцельно на заднем дворе районной гостиницы – мимо заснеженных пустых ящиков, сложенных в углу, мимо гряды сколотого льда у заднего крыльца. Лом, прислонённый к перилам, привлекал его внимание, но, притопывая от холода, человек отворачивался вскоре.

Он обходил сизую гору золы и шлака и заглядывал несколько раз в низкое окно кочегарки. Заиндевшее, оно было слепым как бельмо. Низкая дверь не открывалась на стук. А над кирпичной трубой не вился дым.

Гостиница и просторный хозяйственный двор располагались на самом высоком холме села. Человек, двигавшийся кругами, остановился, наконец, на его вершине и поднял шарф до ушей, пряча лицо от мороза. Золотые снега внизу, над рекой, уже начинали голубеть перед вечером. Широко раскинувшееся крылатое красное солнце садилось за деревянной сарай. Однако пустынная улица, не добежавшая до берега по склону, запнулась о полосу валежника, чернеющего сквозь снег, и заснула загодя: на ней не видно было ни души.

Улицы, огибавшие холм с другой стороны, уходили затем к серому, скучному коробу элеватора, поднимались к кирпичному кубу электростанции у самого бора и прижимались к огороженному овалу то ли кладбища, то ли парка: среди мощных заснеженных деревьев сияло там, вдали, скромное солнце церковного купола.

Оглядев добротные дома с высоты и, поразмыслив, человек всё же двинулся не к жилью, а к гостиничному сараю, стоящему в низине, за косогором, – к той укромной его стороне, где меньше дуло. Здесь, скрытый от людских глаз, он с треском разодрал несколько картонных коробок из-под чая, выложил ими дно сломанного шкафа, валявшегося плашмя, и влез внутрь.

Сберегая тепло, человек натянул вязаную шапку до подбородка, потом вслепую накрылся приготовленным картоном с головой, словно негнушимся одеялом.

– ...Нет! Если я нарисовался, меня не сотрёшь! – прозвучало вскоре под картоном мстительное, глухое ворчанье.

Ещё через минуту рука в короткой перчатке потянулась за откинутой половинчатой створкой шкафа, которая держалась на одной разболтанной петле и захлопнулась над человеком не сразу.

– Пр-р-роклятые... Я же двое суток не спал! – доносилось потом из шкафа с долгими перерывами. – Чтоб эту девицу икота на свадьбе одолела.

– ...Жалко, истопник загулял. Запропастился куда-то, зараза. Жди его теперь на холодрыге... Лежи тут, как сломанная кукушка в часах.

– Но если я нарисовался!..

Ворочаясь под крышкой, шурша картоном и устраиваясь удобнее, человек не слышал, как проскрипели на крыльце кочегарки скорые шаги, как звякнули ключи, как мягко хлопнула обитая войлоком дверь.

[[[* * *]]]

Там всё пошло своим чередом. Бронислава разожгла дрова, засыпала уголь и потрогала трубы. Они ещё не успели нагреться, но шероховатая их поверхность уже не была такой пронизывающе холодной, как раньше. За окном только начинало темнеть. Не включая света, Бро-

нислава вынула из кармана зеркальце, присела на табурет у заиндепевшего окна. В поцарапанном четырёхугольнике отражалось её лицо, красноватое в слабом свете сумерек. Небольшие серые глаза смотрели на Брониславу выжидательно и недоверчиво.

«Нос, гляди-ка, синеет, чтоб его...» – без особой досады подумала она. И, вспомнив, что на работе, в Заготзерно, весовщицы говорили, будто в крем, в «Снежинку», кладут ртуть, Бронислава сразу же и догадалась, что это – от ртути.

Она длинно вздохнула, повернула голову вправо, влево, не сводя глаз с зеркальца. После смерти мужа, – он замёрз прошлой зимой в лощине около села, – Бронислава заметно поправилась, шут знает от чего. Была она совсем не старая, тяжести своих сорока пяти лет никак не ощущала. И уже по ранней весне к ней в дом зачастили не по делу деревенские мужики. Бронислава, в радостном предвкушении долгой застольной беседы, выставляла на стол бражку, кислую капусту, а если выпивки не хватало, бежала к соседям за водкой. И часто какой-нибудь разомлевший в тепле гость уходил от Кочкиных лишь под самое утро.

Женской мести Бронислава и не думала опасаться: в селе все знали, что связываться с ней – себе дороже. Только соседка Зина в сентябре, ни с того, ни с сего, показала вдруг на короткое время чудеса храбрости, хотя её Иван заходил к Кочкиным всего раз, да и то давно: аж на девятое мая. К концу лета она перестала здороваться с Брониславой, потом – с её дочерью Ниной и даже с зятем Антоном. А как-то поутру, когда Бронислава кормила во дворе кур, косматая Зина вытерла о грязный фартук руки и сошла со своего крыльца. Она решительно облокотилась на изгородь.

– Чего не видала, Коробейничиха? – мирно спросила её Бронислава.

Зина будто только этого и ждала.

– Ты, Бронька, туды тебя в прясло, зачем моих кур загнала да своей краской переокрасила? Я не косая! Вон моё жёлтенько-то под твоим зелёным видать! – заголосила она на всю улицу.

– Заткнись! – по-хорошему посоветовала ей Бронислава. – У тебя мужик шалавый, а тебе куры виноваты.

Зина пнула забор что было силы – и одно звено тут же повалилось на землю с треском и грохотом. Куры с зелёными метками закудахтали, кинулись врассыпную по углам двора.

– Своего на тот свет спровадила? – яростно топча упавшую изгородь, бушевала Зина. – Так теперь чужих привечаешь, прорва?!

– А ты – видала?! До-ка-жи! – гораздо громче Зины прокричала Бронислава и запустила миску с кормом к самой стайке. – Разоралась тут. Я тебе глотку-то быстро заткну. Лучше бы голову сидела-мыла, чем день-деньской с косматыми лохмами вдоль чужих дворов мотаться да заборы по всему Буяну ломать!

– А-а! Тебе, значит, голова моя не нравится, – обрадовалась соседка и побелела. – Щас поглядим, какая твоя будет.

Подобрав с земли влажный ком, Зинаида метнула его в лоб Брониславе:

– Вот тебе. Сучка. Сама заткнись! ...Заткнёт она.

Бронислава молча, в два прыжка, настигла Зину, развернувшись было к своему дому, рванула на себя вихор короткой её стрижки и сноровисто двинула соседку по рёбрам. Зина хотела пнуть Брониславу, однако промахнулась и тяжело шмякнулась на землю, успев задеть её кулаком по виску:

– Лови с правой, гадина!

Но Бронислава, схватив соседку за загривок, уже тыкала её лицом в землю, меж бесильно раскинутых толстых ног.

– Бронька, хватит, – отплёвывалась Зина. – Хватит. Броньк, да ты что? Шуток, что ль, не понимаешь? Сдурела прям. Да я кого?... Я – так просто: для разговора.

– Вот и молчи, коли так, – выпрямилась довольная собою Бронислава, раздумывая и помолодевшая.

– Ты меня прости, – виновато кряхтела Зина, поднимаясь. – Не обижайся, Броньк, на меня. Он ведь, собака-то мой Иван, дома, почитай, и не ночует...

Толстое перепачканное лицо её жалобно дрогнуло, а голос стал по-детски тонким:

– Провалился бы он пропадом, в тартарары, такой муж, – всхлипывала она. – Ты думаешь, зря люди говорят? Что «горе – говорят, – муж Григорий, а у меня Иван – не дай Бог и вам»? Предупреждают люди-то сколь уж веков! По-ихому и выходит... Вот, удостоверилась теперь я. Насчёт Ивана. Не один раз.

Ещё не остывшая после драки, Бронислава быстро поправила сбившуюся косынку. И разрешила, подбоченясь:

– Похныкай, похныкай. Лишний раз по-малому не сходишь.

– Да-а-а... А ты думаешь, хорошо мне – в окошки-то выглядывать, его до звёздочков ждать? – плакала Зина и сплёвывала землю с губ. – Я ведь стёклы свои все до дыр проглядела, Броньк, из избы-то. Насквозь! Все стёклы, Броньк, у меня – в дырах.

– Сама виноватая. Сидит, стёклы она теперь глазами сверлит, после время... Ты за свекровью, за матерью за его, как после свадьбы ухаживала? А? – припомнила ей Бронислава. – Кой-как ты её, хворенькую, обихаживала, и с печки ты её, тётку Марьюшку, в рукавицах снимала! Температурой заразиться ты от родной его матери боялась, все знают! И не отказывайся. Вот оно тебе и отливается... И ты, Зинка, за одни только эти рукавицы, хоть как – перед людьми всю жизнь свою виноватая будешь. А Иван, хоть как – нет! Он правый для всех выходит. Обижала тётку Марьюшку – терпи. Так тебе и надо.

– Дык, дитё же, Броньк! Оно не выросло, а терпенье уж кончилось. Не Аришка бы если, разве бы я за него, за блуду, держалась? – причитала Зина, размазывая грязь по опухшему лицу.

– Мне б твоего Ивана! Я б его на шаг от себя не отпустила, – сердито пожалела соседку Бронислава, отряхивая пыль с толстой её спины. – Он бы у меня как по мосточку ходил. Ни влево тебе, ни вправо!

– Как же! Загонишь ты его домой! Так он и послушал. Это, Броньк, разговоры разговаривать хорошо. Тебе – что? Ты вон, подбористая, как кобыла. А я – видишь, как рано износилась. А ведь я, Броньк, помоложе тебя буду! Намного! Разлезлася вон вся... Ох, нет: чужую беду, Броньк, и я руками разведу, а своей ума не приложу. Если уж он повадился по чужим-то домам с ночёвками гостить, где ты его выправишь? Блуда – он блуда и есть. Блуда блудская, паразит.

– А ты поглядывай! – гордо щуря затекающий глаз, учила Бронислава. – Навострился он куда, а ты к нему сразу поласковой. Вроде, не соображаешь. Вроде ты – дурочка. Ну, дурочка с переулочка. «Давай, Вань, рубашку вот эту надень. На-ка вот тебе выходную, понарядней!» Надевай на него да поглаживай: «Ой, как тебе всё идёт, Вань! А ты бы на дорожку щец похлеббал!» Гладь его, Зинка, не переставай! И – корми. Корми под завязку! Чтоб он дома, рядом с тобой, с горячего сомлел!.. А зверюгой не кидайся. От зверюги-то любой к другой наладится... Ну, что? Айда забор ставить! Ох, прохлаждаюсь я нынче, а у самой полы немые.

– Ты заходи, Броньк, если чего надо, – поднимая изгородь, натужно кряхтела Зина. – Не стесняйся, Броньк.

– А-а... Куда я денуся! – помогала ей с другой стороны Бронислава. И смеялась, отворачиваясь от забора: – Ссадины зелёной не прижигай, смотри! Чаем лицо промой. А то разрисуешься. Будешь кикиморой болотной в окошки выглядывать, Ивана до судорги пугать. Как бы совсем со двора-то не сбёг... Вот и гоняйся тогда за ним по всему по Буяну. С зелёным-то лицом... Умора!

– Правда что, индийской заваркой лучше умоюся, – щупала ссадины Зина – на лбу, на скулах и на подбородке. – А ты прям в любое время заглядывай, Броньк! Не забывай нас.

– Не бойся. Не забуду!

– Пятак медный у тебя есть, к глазу-то приложить? А то я вынесу. Два.

– Не переживай! Так пройдет... Себе, Зинка, оба оставь! В смертный час пригодятся. А то я потеряю, тебе на веки положить нечего будет. Ну, доброго здоровьичка!

– И тебе доброго здоровьичка. Слышь? Забегай!

– Не горюй, Зинка!

– И ты не хворай.

[[[* * *]]]

Но забегала в основном Зинаида, и всё больше по вечерам, на ночь глядя. Зорко оглядывая сидящих за столом, спрашивала с порога медовым голосом:

– Броньк! Соли не дашь случайно?

– Опять сорок пять. Ты прям, Коробейничиха, интересная какая-то! Кто же соль-то занимать ходит? Да ещё потемну. Поглядите-ка на неё, на чуду: без денег меня оставить хочет! Не обижайся, не дам. Я пока что не сдурела.

Зина топталась и не уходила:

– Ну, тогда хоть муки с ведра отсыпь! В лавку схожу – отдам. Тесто на завтра, что ль, поставить...

– В чулане, в мешке. Иди, отсыпь сама. Некогда мне с мукой тебе возиться. Не видишь? С людьми я сижу.

Зинаида долго ворочалась за стеной, брэнчала ведром и роняла то ковш с гвоздя, то жестяное корыто с лавки.

– Опять, значит, Иван-то загулял, – переглядывались мужики. И опасались: – Ну, угостит она его нынче скалкой. Вон, от неё аж током бьёт.

– Ладно, если только скалкой, – рассуждали гости, прислушиваясь к возне. – Опарой умоет! Как бы всю квашню ему на голову не надела. Если нынче вернётся.

– Дурак он что ль, к скандалу торопиться? Нет, раз уж Коробейников загулял!.. Хорошо, если к пирогам готовым заявится.

– Оно и правильно, – одобряли Ивана остальные. – Пока к дядьям заглянет, да пока всех кумовьёв обойдёт... Семь бед, один ответ.

Степенный застольный разговор шёл своим чередом.

– ...Какие кумовья? Он у Любани, у кладовщицы, с самого утра песни в дому поёт! – припоминали вдруг мужики. – С переливами. Шторки везде зашторенные, а самого за оградой слышать. «Когда б имел золотые горы». Так что, пироги-то Зинкины ещё и зачерствеют.

– Если у Любани... – призадумывались знатоки. – Тогда, конечно: зачерствеют. Там – не больно-то; там круть-верть – и мимо.

– Именно! У Любани хоть трое суток пой. А толку? Одни хи-хи да ха-ха, да «спи на полу»... Бывало дело!

– Бывало. Знаем.

– Зачерствеют! – дружно чокались все.

– Ваше здоровьице... Ваше здоровьице.

– И вам не хворать.

Бронислава слушала, обмахивалась чистым полотенцем:

– Ну, умора!

И смеялась:

– Походил бы он от меня! Ох, поглядела бы я, кто б кого тогда караулил!..

[[[* * *]]]

И всё было хорошо в доме у Кочкиных, да только старшая дочь Нина и зять Антон, жившие при матери, на гостей Брониславы смотрели косо. А к зиме и вовсе – спрятали от неё сберкнижку.

– Тебе уже зарплаты не хватает на гулянки твои! Привадила ораву! – выступала из своей комнаты дочь. – И лесорубов, и электриков. Это что такое?

Она кричала с порога, раздвинув цветастые занавески обеими руками, пропадала, а потом появлялась в занавесках снова, как артистка в клубе:

– С книжки-то берёшь, а забыла, что деньги эти не ты одна наживала? Кочкин тебе их приносил!.. И Кочкин тебя в Заготзерно устроил, между прочим, когда бригадиром стал! Если б не Кочкин, много бы ты сама наработала? Кто бы тебя учётчицей с твоим образованием взял?!.. Как после семилетки в доярки пошла, так до сих пор на ферме бы ты ломалась! ... Вон, бабуля наша всю жизнь под коровьим брюхом просидела – и ты бы оттуда до пенсии не вылезла. Не знала бы ночью, куда рученьки уложить, чтоб не ныли. Небось, не до гостей тогда было бы!.. Забыла она про всё. Что-то больно скоро забыла!

Теперь, когда Нина злилась, то называла отца по фамилии – Кочкиным. Будто нарочно отгораживала его, умершего, от Брониславы. И тогда Бронислава становилась виноватой сразу перед всем миром. В том, что вот, осталась она на свете – живая, и не померла тоже, не замёрзла, как порядочная, вместе с мужем, а вместо этого одна, без него, сидит теперь барыней, и ходит везде, и дышит, как ни в чём не бывало.

«Да что же я тебе такого сделала, что глядишь ты на меня так? – думала Бронислава, не отвечая дочери. – Мы же тебя на технолога в городе выучили, как человека... Но – нет: не человек ты выросла, а прокурор».

И Бронислава устроилась в кочегарку при гостинице, подрабатывать после пяти: оклада что-то и вправду не хватало.

[[[* * *]]]

Зима в этом году выдалась крепкая. Однако районная гостиница была небольшая, всего на двенадцать окон. И дежурные прибегали ругаться в кочегарку редко – только когда Бронислава засыпала от скуки и усталости на узком клеёнчатом топчане раньше времени.

Чтобы сбить дрему, Бронислава выходила по ночам на крыльцо. Обь рано сковало льдом – река давно замерла, ничем не отличимая под волнистым снежным заносом от дикого поля, мертвенно-бледного в свете сильной, дымящейся от мороза, луны. Дальний бор угрюмо темнел за прозябшим селом. И в то, что морозы когда-то кончатся, уже не верилось – так основательно было выстужено небо с разлетевшимися в вышине острыми ледышками звёзд, так угрожающе гудели вдоль спящих улиц бессонные столбы, так уверенно ходили и выли протяжно над окоченевшей землёй студёные ночные ветры.

Бронислава стояла недолго и спешила поскорей назад – чтобы не застыть на холодной воле и не затосковать смертельной тёмной тоской. Иначе, чудилось ей, обомрёт она здесь, на крыльце, в полный свой рост, заледенеет – и уже не очнётся веками, потому что стужа охватила весь мир навсегда...

– Угля-то две машины, то ли хватит, то ли нет, – глядя в светящееся поддувало, прикинула про себя Бронислава.

И всё не включала света, подробно думая про всё своё хозяйство, про запасы в погребе и в стайке, и про незаботливого зятя – тоже. С прошлой зимы она быстро зябла, если оставалась в просторном доме одна, и потому топила у себя помногу.

Замёрзший муж не снился ей по ночам и никогда не мерещился в одиночестве, в глухой комнатной тишине. Только иной раз, ближе к полуночи, тяжелел у Брониславы затылок, будто от постороннего тяжёлого взгляда, и тепло из сердца начинало уходить куда-то. Вытягивало его, тепло, ощутимо до боли, как в тёмную пропасть какую – как в бездну сырую, ненасытную.

– ... Прикупить, что ль, с полтонны, пока не поздно? – поёжилась Бронислава. – Батюшки-светы! Опять расход.

[[[* * *]]]

Однако о расходе она сокрушалась больше по привычке. Уголь в этом году достался ей дёшево. За машиной в Сельхозтехнику Бронислава так и не ходила. Увидала на дороге машину Сашки Летунова, встала перед мчащимся навстречу самосвалом – и ни с места.

Сашка затормозил, высунул из кабины перепуганное злое лицо.

– Ты что это, бесстыжий, мне угля не везёшь? – не дала опомниться парню Бронислава. – Нет, вы поглядите на него! У меня сын в армии во Владивостоке, а он всё мимо проехать норовит!

– ...Тётъ Бронь, я Витька вашего уважаю, – зябко вытирая под носом, мямлил из кабины Сашка. – Я привезу, как порожний из города поеду. Вот зуб даю, привезу.

– Ты мне брось, «как порожний»! – рассердилась Бронислава, забираясь в кабину с другой стороны. – Нужен мне твой зуб. Молочные, что ль, до сих пор падают?.. Давай езжай, у меня квитанции с собой.

– Тётъ Бронь, да не могу я! Правда, не могу. Меня в хозяйство заказали!

– Подождут! Скажешь, поломался. Давай езжай. Платить не буду. Бутылки с тебя хватит.

Сашка хоть и нервничал всю дорогу, но за углем съездил оба раза. И от бутылки отказался – затянул своё:

– Тётъ Бронь, да ты что? Меня люди засмеют. Скажут: Витьку без бутылки не помог... Не пью я. Честно, не пью... На кой мне бутылка? Я Витька вашего уважаю.

И тем сильно насмешил Брониславу.

– Ты и гостей, что ль, к студёному компоту приучил? – любопытничала она. – Гости-то у вас чем с мороза греются? Ну, чудной!.. Возьми чистенькой, хоть баушке своей! На компрессы. Муравьёв от ревматизма настаивать.

– Она у нас в сенной трухе от ломоты парится, – отнекивался Санька из кабины. – Каждую баню в дубовой бочке по шейку сидит. Без всяких муравьёв.

– Ну, корень-борец пускай водкой зальёт. Натрётся к непогоде когда-никогда. Всю жизнь на ферме, под коровами, да разве же она рученьки свои не навихляла? Мосолки-то, небось, как на вьюгу ноют!

– Не уговаривай, тётъ Бронь, не возьму!.. Борца в чулане у ней на сто старух настоено: хворай – не хочу, – сердился парень, краснея. – Ладно, Витьку привет передавай, тётъ Бронь. И выкинь ты эту бутылку из своей головы!

Санька решительно хлопнул дверцей кабины. Самосвал сорвался с места и выехал со двора, оставляя чёрный колёсный узор на снегу. А Бронислава расстроилась возле кучи задаром привезённого угля.

– Ты погляди, парня безо всего отпустила. Пустой поехал! – сокрушалась она, подбирая в ведро отлетевшие в сторону, поблёскивающие на сколах, чёрные куски. – Да. Не ладно что-то вышло. Не больно-то хорошо...

Но успокоилась она быстро, как только принялась затворять большие тесовые ворота.

– А я баушке Летуновой милостинкой должок отдам! Вон, бумазейкой. Что ж теперь... У меня отрез без дела лежит! Пускай сродит на себя чего ни на то, да и носит, – сводила она тяжёлые скрипящие створы, подпирая их плечом. – Нарядится к радованице старушоночка наша, носатенькая, хроменькая. В мягкое во всё... На солнышке с клюшечкой посидеть в бумазейке сядет. В свежей!..

Бронислава как следует приладила брус – вогнала его в две чугунные кованые скобки и крепко стукнула по торцу в последний раз:

– А заодно и помолится пускай за меня посильней: за рабу грешную Агафию!

[[[* * *]]]

Гостиничный уголь был много хуже домашнего: и тусклый, и мелкий. Не намочи – огнём не возьмётся, пламенем не схватится. Ну, пыль и пыль!

Прихватив ручку старой варежкой, Бронислава приоткрыла раскалившуюся дверцу печи. Осторожно, из-под низу, двинула кочергой. Бледно-алое жаркое пламя полыхнуло голубым. Зашевелившийся сверху чёрный уголь смешался с огненным, разгоревшимся. Из печи пахнуло

дымным смрадом. Бронислава, морщась, захлопнула дверцу, помяла в руках подпалившуюся варежку.

Включать свет и снимать пальто было всё ещё лень. Она снова села к тёмному окну и едва устроилась поудобней, как тут-то, без всякого стука, отворилась и захлопнулась дверь. У порога стоял человек, неподвижный, чёрный и незнакомый.

Бронислава сощурилась, вглядываясь в плохо видимое от окна горбоносое лицо. Человек молчал. Молчала и Бронислава. Розовый отсвет печного огня лежал на чистых половицах и подрагивал. Сонно гудело в трубе. Стало слышно, как с подоконника закапала стаявшая вода.

Человек пошевелился. Он повёл узкими плечами, растирая руки.

– Свет в-в-включается? – заикаясь от стужи, выговорил тёмный незнакомец и зашарил по стене.

Щёлкнул выключатель. В выбеленной комнатёнке сразу стало светло и хорошо. Мужчина насторожённо озирался, пряча крутой сизый подбородок в шарф.

– Холодно в болоньке-то! – заметила Бронислава.

– Ещё бы, – сердито отозвался человек, сдвигая со лба вязаную шапку – чёрную, с бурой полосой.

Теперь он смотрел на Брониславу – исподлобья, с досадой. И ей показалось, что когда-то давно она обидела его чем-то, невзначай и сильно, и забыла про то. И про него самого – тоже забыла нечаянно! А он вдруг здесь и всё помнит.

– Холодно. Грейся, – сказала Бронислава.

Он важно выпрямился – и шагнул к ней, вытянув руку с плотно сжатыми бледными пальцами:

– Кеша. Он же Викентий.

Рука была ледяная и невзрослая. Бронислава пожала её осторожно, словно неживую:

– Броня. Кочкина... Вот, тепло.

Лицо его ещё не отошло с мороза, и улыбнулся он поэтому криво.

– Поэт! Широко известный в узком кругу. Частично – актёр. Художник из города. И тому подобное! – со значением сказал он, круговым движением дорисовывая над своей головой всё остальное.

И Бронислава поняла: это он из скромности не договаривает про себя самое главное и самое хорошее.

– А я вот – тепло, сижу, – повторила Бронислава, вздыхая. – Грейся. Холодно в болоньке-то.

Он, ёжась, подсел к печке. Его знобило.

– Дер-р-р-евня! Никто ничему не верит. За гостиницу – и то платить нечем!

– Не деревня. Село тут, – неспешно поправила Бронислава, разглядывая его с любопытством.

И не поверила:

– Разве ты про наш Буян не слыхал?.. Вот чудо-то. Чудо в перьях... Это про нас везде врут: лихие люди да лихие люди. В Буяне, врут, там птицы без голоса, цветы без запаха, а женщины – без сердца! Видишь, чего болтать наладились? С перепугу... Нет. Село тут у нас! Настоящее.

Печь выстрелила алым угольком в пол. Бронислава живо подхватила его пальцами, будто светляка, и закинула в поддувало, мимо Кеша.

– А здесь не люди, а места такие. Строгие, – устраивалась она на прежнее место, у окошка, вытирая пальцы тряпкой. – Боятся чужие сроду этих мест. Ну и завидуют, конечно: не без того... А как не завидовать? Мы ведь, сроду без никого, живём тут, в медвежьем-то углу, покрепче всех. Сами только по себе сроду живём... А ты как же попал, чужой, в глухомань-то нашу?

– Как, как... По ходу жизни! – нахмурился он.

И возмутился, передёрнув плечами:

– Нет, на улице мне что ли теперь ночевать?! Предложил дежурной девице по-хорошему: «Давайте я около вас бесплатно посплю». Так она меня, с ружьём наперевес, до самых ворот гнала! «Я – дева чистая, а вы – стрекулист!» ...Бандитка. Бандитка с белым воротничком... Я до смерти замёрз! Х-х-холод же страшный! А эта ваша дева... Чуть в спину не пальнула.

– Клавонька – она добрая, – успокоила его Бронислава. – Стреляет, конечно, без промашки. И ростом под потолок. А так – добрая... Она бы только прикладом стукнула. И всё.

– Понимаю, – кивал ей Кеша, нервно соглашаясь. – Кто спорит: добрая. В кружевном воротничке... Девица... Но, гадство, с ружьём!!!

– ...Плохо, конечно, без денег, – согласилась Бронислава. – Я вон уж скоро год одна, без мужа, так вот... подрабатываю.

Ей стало грустно после этих слов и жалко себя. Она отвернулась к тёмному окну, оттаившему поверху.

– И ни одна сволочь не занимает! – вскинулся Кеша. – Журналисты называется!

– ...Он из города на попутке добирался. В ночь уже, – качала головой Бронислава, не оборачиваясь. – Потом пешком шёл. От грейдера самого... Костры по дороге жёг, в сторожке ночевал. А перед Буяном видишь чего... Не надо было ему из уазика выходить. Ох, не надо!.. Зачем он от шофёра этого отстал, а?! У него бы в доме переночевал лучше. Небось место-то чужое до дыр не пролежал бы.

Она задумалась. Провела пальцем дорожку по низкому подоконнику – чтобы скорей сбегала по ней ручейком талая вода.

– Уазик, видишь, латаный-перелатаный был. Всю дорогу ломался, – со вздохом объяснила Бронислава, переставляя на полу банку под зачастившие капли. – И шофёр – чужой, по грейдеру дальше один уехал, на соплях. Он, неисправный, в Буян даже заворачивать не стал: передумал. Проволокой поломку свою замотал, да и усвистал... А холод был!!! Батюшки-светы! Х-х-холод – страшный... Ну, им, Кочкиным, сроду море по колено: вылез. Чуть не двести километров по Дикой дороге отмахал. А перед Буяном самым, в овраге...

– Я же на работу, проклятье, ехал! Добрался, называется, – от тепла Кешу затрясло сильнее.

Он сжимал и разжимал перед раскалившейся дверцей сведённые стужей, непослушные пальцы.

– Устраиваться, что ль, будешь куда? – обернулась Бронислава.

– Да я-то – хоть куда могу! – презрительно фыркнул он. – В газету, в клуб... Умею писать. Знаю законы жизни и сцены... Досконально изучил психологию людей и женщин. Это для меня так: семечки. Вот денег – нет! Редактор где-то в командировке торчит... Отдал им два стихотворения – деньги не начисляют. Рассказ целиком преподнёс! Бухгалтер – баба, упёрлась, проклятье, без начальства копейки не отпускает. Парадокс!.. А где этот редактор застрял, надолго или нет, ни одна деревенская особь не знает.

Сочувствуя, Бронислава покивала ему:

– Что ж теперь. Труднодоступный район! Правильно про нас говорят: с трёх сторон – лёд, с четырёх – тайга. Всякое, конечно, в дороге может случиться.

– ...Тебе лом нужен? – неожиданно спросил он.

– Нет... А ты с ломом, что ль, из города ехал?

Ответа не последовало.

[[[* * *]]]

Они долго молчали вдвоём, глядя на печную чугунную дверцу, уже раскалившуюся поверху до малинового нежного цвета.

– Мне-то жить ещё можно! – вслух рассудила Бронислава, отряхивая угольную пыль с полы и запахиваясь потуже – не от холода, а просто так, для красоты. – У меня и дом, и корова, и огород. Баню только вот без Кочкина никак не дострою. А зять...

Она обиженно поджала губы и махнула рукой:

– Время у него на баню нет. У зятя. На рыбалку – есть, на охоту – есть, а на баню...

– Такие стихи отдал! – Кеша поднял голову. – Что они в них понимают? И каждый о себе чего-то мнит! Р-р-районщики. Бездар-р-рность... Убожество сплошное...

– А я Антону-то, зятю, начну про баню говорить: «кругляка, говорю, доставать надо»! А ему не докажешь... Всё на «потом»! А этого «потом» три года потом не дождёшься.

– Лирические стихи! – сокрушался Кеша. – Почти что про любовь. И псу под хвост.

– Всё лето про кругляк ему талдычила! – стукнула себя по колену кулаком Бронислава. – Напоминала! Антону этому... Нет: то сидит – блёсны наждачкой трёт, все кряду. Вот, полирует их прямо. А то пыжи из валенка старого режет. Патроном наточенным. Режет и режет, режет и режет! И по всему полу пыжи валяются, как опятки, а он молотком ухобачивает – и обрезки не подбирает!.. Куда их столько-то?! Наколотил... В бочку солить, что ль?!

– ...Два юмористических рисунка предъявляю, как понимающим людям, а они? «Это же под копирку с «Крокодила» срисовано!» Кретины.

– А брошка моя, думаешь, куда в позапрошлом году подевалась? – оживилась Бронислава и развернулась в сторону гостя поосновательней. – Нет, ну – куда?.. Насквозь просверленная в блёснах лежит. И тройной крючок уже он к ней присобачил!.. «Я думал, ты эту железку выкинула!» Думал он... А она ведь – с глазком! Железка-то. С синеньким.

– Ты Заковырина знаешь? – подозрительно спросил её Кеша, отстраняясь.

Бронислава растерялась:

– Да у нас, вроде, таких и не было никогда... Заковырины, говоришь?

– Тьфу ты, его весь край знает! – повёл он бровями от возмущения. – Художник! Художник из Повалихи.

– ...Ну?

– Мой друг! – со значением произнёс Кеша.

Бронислава взглянула на него уважительно.

– А про Хрумкина ты, конечно, слыхом не слыхала? Он городской. Флейтист! У него троюродная тётка в Греции прозябает... Сам он, конечно, бездарность, но по вопросам политики советуется... Может, Панина хотя бы знаешь? Фотоко́ра из Шерстобитова?.. Вот, дер-р-ревня... Он меня знает. С лучшей стороны! А с худшей – нет... Времени у него мало было. Он телятниц молодых проявлял. А потом закреплял. В темноте, при красном свете. А я в магазин всё время бегал. Ему кислый фиксаж покупал. На сдачу... И он – друг! Лучший.

– Ну и что ж теперь, – пожалала плечами задетая Бронислава. – У моей племянницы муж тоже фотограф. В быткомбинате работает.

Но добавила помягче:

– Зарабатывают они, конечно. Ничего не скажешь. Особенно на паспортах, – и выплеснула талую воду из банки в ведро с углем.

– Эх, лучше бы в Шерстобитово уехал! – хлопнул он себя по колену. – Ну, до Шерстобитова денег не хватило. Здесь, в Буяне вылез, пр-р-роклятье.

– А что ж без денег-то поехал? – поразилась Бронислава.

– А-а. Жена выгнала. В чём был. Без копейки... У друзей, по ходу жизни, перехватил. Бутылку красенькой с одним на вокзале выпили, у меня ж копейки остались! Думал, с шофёром договорюсь по-хорошему: чтоб до Шерстобитова довёз. Нет, тут высадил!.. Но я его вычислил, шофёра: скрытый кержак, между прочим. Судя по генетическому упрямству и врождённой непреклонности.

– ...Как же ты теперь? – спросила Бронислава.

И отмечала, разглядывая его обстоятельно:

– Вон, как тебя колотун бьёт... Промёрз до кишок в обувке-то нарошинской... Ботинки на тебе холодные, как копыты. Ноги, поди, в них совсем околели.

– Ничего, не сильно. Они всё-таки в газете! В «Независимой».

– А лицо-то наморозил, батюшки-светы! – сокрушалась Бронислава. – В пятнах лицо... Ты барсучьим салом смажь! Обязательно. А то лентами кожа сойдёт. Чего тебе линять-то? Не змей ты, не уж: человек.

– Я три дня н-н-не ел! – зло и тонко выговорил Кеша. – Три дня! Был бы гад, в спячку бы ушёл. С концами.

Бронислава, неожиданно для себя, принялась оправдываться:

– Я дома ем. Нету у меня тут... У меня дома всё. Я с собой не беру... А так-то – не жалко бы, конечно.

И ей стало неловко оттого, что она сытая, и что пальто на ней – тёплое, хоть и не новое. А новое, синее, она берегла, чтоб не выцвело: надевала в каждую зиму раза по два, не больше.

Он повернул к ней озабоченное тонкогубое лицо.

– Слушай, заведи меня к себе! – с раздражением потребовал он.

Бронислава молчала.

– Заведи! – сердито повторил Кеша.

– ...Ну пошли, раз так. Холодный-голодный... Вот этот уголь только прогорит. Новый получше намочу, засыплю ведро – и пойдём, – согласилась она.

И поудивлялась:

– В гостинице-то у них – три с половиной гостя кукуют. А тебе, значит, и узенького местечка не нашлось. На половичке, у порожка... Ладно, пускай кукуют. Ничего! Им до утра тепла хватит. А в девять сменщик затопит... До смерти за ночь не замёрзнут! Под одеялками-то ватными.

Задумавшись, Бронислава прикинула ещё раз: правильно она решила или нет? И чего люди скажут, представила. И как дежурные раскричатся...

– А-а, и ладно, – пригорюнилась она. – Что ж теперь... Человек ты всё же! Не ещё кто.

[[[* * *]]]

Идти надо было через всё село. Кеша убежал вперёд в своей «болоньке», крепко обнимая себя за плечи. Потом стремительный скрип его шагов резко обрывался. Он останавливался возле спящих бревенчатых домов и кричал Брониславе из темноты, сквозь собачий лай:

– Туда? Или туда?

– Прямо иди! – махала Бронислава.

И звонко наказывала вдогон:

– Да дорогу-то на обратно запоминай маленько!.. Ночью тебе, конечно, лучше одному не возвращаться. А то налево собьёшься – к старому руслу уйдёшь. Там – овраг на овраге, обрыв на обрыве. Ухнешь в снег-то с головкой, чего доброго, как глухарь. Выволакивай тебя потом отудова на вожжах... А правой возьмёшь – к берегу выскочишь, как раз в прорубь с концами угодишь. Под снегом-то лунки не больно видать! Их в той стороне полно пешнями пробито. Судак там на блесну клюёт...

Она доходила до очередных тесовых ворот и останавливала собачий лай спокойным окриком:

– Трезорка! Не шуми. Свои идут.

Со двора доносилось недоверчивое рычанье. Потом звякала и брнчала цепь. И наконец всё стихало за высоким чьим-то забором.

Но волна разноголосого собачьего лая неслась дальше, следом за Кешей, бегущим резвой трускою, и набирала силу.

– Да ты что, Найда? С ума сошла на старости лет? Разголосилась на весь Буян, как дура молодая. Сбрендила что ли? – сквозь ворота стыдила Бронислава следующую знаковую собаку. – Хозяев-то разбудишь. Они тебе что, спасибо среди ночи скажут?.. Ну, Найда, дурочка.

– ...Свои, Урван! Спи давай, иди... Свои, свои.

И думала, глядя на стремительно удаляющегося чужого человека: с какого же он года – ровесник или маленько постарше?.. Про барсучий жир бы только не забыть. Он где же, в сенях – или на полке, в чулане холодном?.. На полке, наверно, стоит. Бидончик-то эмалированный, с жёлтой розой. Достать надо будет сразу, обязательно!

[[[* * *]]]

За столом Кеша съел сковородку только что нажаренной картошки. Нашёл на плите полкастрюли супа – он был вчерашний – и быстро выхлебал, бойко стуча ложкой. Доел борщовую заправку из трёхлитровой банки. А потом очистил валявшуюся на столе луковицу и молча жевал с хлебом и солью.

Он долго и сосредоточенно смотрел в угол. И сказал наконец с сожалением:

– Хороший был лук!

– Хороший, – согласилась Бронислава, прилежно разглядывая его модный, узкий в талии, пиджачок в полоску, не застегивающийся на отвислом животе, и вылинявшие коричневые брюки, и жидкий галстук с грязным кривым узлом.

«Неприкаянные какие, эти городские, – сокрушалась она про-себя, потихоньку. – Как галки облезлые. Хоть Козина взять! Прилетел из города, занюханный, с толку сбитый. А тут в Дом культуры устроился – гладкий стал, солидный даже... Ох, горе горькое: как же намыкался в городах человек!»

А Кеша косился на колючие, словно щупальца зелёного осьминога, стебли столетника, вольно раскинувшегося на подоконнике, в горшке, и на половики, сотканые из разноцветных мягких тряпиц. Они уводили через горницу в спальню.

– ...Что хороший, то хороший! – похвалила Бронислава лук. – Я у корейцев в городе никогда не беру. У них хоть и крупный, а сладкий. А этот – свой! С огорода. Душистый. А злющ-щ-щий! Как режу, так плачу. Плачу, плачу! Слезами заливаюся! Вот какой настоящий, наш-то лучок!..

– Выпить нет? – строго перебил её Кеша.

Бронислава нацедила в ковш молодой молочно-розовой браги, отпила сама и протянула ему. Он выпил всё до дна. А потом зачерпнул из фляги сам. Разок и другой...

[[[* * *]]]

Ночь выдалась беспокойная. Кеша до самого рассвета то и дело выбегал во двор, накинув на майку болоньевую куртку, а возвращаясь, проворно шарил в кухонном столе и стучал дверцами поочередно: тук, тук. Потом говорил Брониславе, забираясь к ней под одеяло и дожёвывая то корку хлеба, то прошлогоднее завалившееся печенье «Привет»:

– Чудо! Ты – чудо, я лично таких не встречал, – он торопливо чмокал её в щёку. – Напротив тебя, Брошка, они все – калоши. Один писатель, француз, ты его не читала, сказал: «Яблоки в мире кинуты, каждое пополам. Знал свою половину только старик Адам!» Это, кстати, я сам написал. У француза немного по-другому было. Но у меня лучше...

Да. И этот Адам, значит, половину свою – знал. В лицо. Перед ним женских лиц больше никаких не было... Он её, свою Еву – не помню отчества, ни с кем не путал, никогда. Даже другими женскими именами ни разу нечаянно не называл, представляешь?.. А остальные люди всю жизнь в поиске. Рыщут по свету, как борзые! Найти стремятся именно свою женшень! Все с ног сбиваются. Но... без толку! Не везёт им, понимаешь? А мне одному – раз и повезло. Ты – моя половина. Точно-точно! Не смейся! Я тебя нашёл. Искал, искал... Долго искал! Вас ведь всё-таки тыщи. Мильоны вас, можно сказать! Вас тьмы, и тьмы, и тьмы! С раскосыми

и жадными очами... Это, выходит, я тебя искал... Сам себе не поверил – вот она! Только у Адама и теперь у меня. Исключительно у нас двоих. Представляешь?.. Ну, он – старик уже, Адам. А я – нет.

Довольный собою, Кеша задумывался о чём-то. Но вскоре хватался за голову:

– И ведь сколько никчёмных, тягостных встреч я пережил! Со всевозможными пресловутыми женщинами... Сколько вынес жестоких любовных драм! Сколько чудовищных, душевраздирающих романов преодолел! Жуть во мраке... А ведь я же – не бабник какой-нибудь оголтелый, правильно? Нет, серьёзно! Ты не смейся... И откуда я знал, что моя половина в такой глуши живёт? Моя – и в глуши? Парадокс!.. Я сразу, между прочим, заподозрил: она, думаю, печку топит... И ведь когда нашёл? Когда полностью отчаялся! Я, знающий законы жизни и сцены, презирающий людей и женщин, вхожу в кочегарку – темно. Врубаю свет в трепете, в сомнении: она? Точно. Сидит! В пальто! И – ореол, гадство! Не вру. В триста ватт. Вроде короны... На полкочегарки – вот такой ореол!..

Он собирался сказать ещё что-то, особенно важное и хорошее, но неожиданно вскакивал, торопливо совал босые ноги в калоши и выбегал снова. За окном проносился стремительный скрип его шагов.

Прикрыв глаза ладонью, Бронислава изумлённо и недоверчиво перебирала в уме только что услышанное, и душа её там, под ложечкой, тревожно томилась и будто летела. В свои сорок пять она и не знала, что есть на свете такие удивительные слова. И все – про неё. Все – про одну...

Её Кочкин по ночам сроду не разговаривал. Даже не храпел. Разве только кричал тонким голосом, когда снилось страшное. Да и то неразборчиво...

[[[* * *]]]

Утром она наскоро погладила Кешину грязную рубаху – и пожалела, что не догадалась постирать её ночью. Он проснулся сам, взбешенный, помятый и отчего-то злой.

– Щи сварила, – улыбнулась ему уже припудренная Бронислава. – У нас, в селе, кого сварить? У нас по-простому: щи да каша.

– Где? – требовательно спросил он.

– Да в селе, – нараспев повторила она.

Кеша сморщился:

– Тьфу ты... Щи – где?

– А на плите! Где же ещё? Налью сейчас, – засуетилась она.

– С мясом?

– Ну!

Он успокоился и стал одеваться, не глядя на неё.

Из комнаты вышла Нина. Поднявшись на приступок, она сняла с печи валенки, молча обулась, надела пальто. Кеша прокашлялся.

– Дочь? – спросил он, приосаниваясь и приглаживая жидкие волосы ладонью.

– Нинок, это... Викентий, – неуверенно сказала Бронислава ей в спину.

– Кто-о-о? – обернулась Нина, нехорошо усмехаясь.

Бронислава и обиделась, и рассердилась:

– «Кто»! – вспыхнула она. – Молодая ещё, матери-то «ктокать»! ...Муж! Вот кто!

Нина накинула пуховую шаль, осмотрела Кешу молча, безо всякого выражения. Прежде, чем уйти, она постояла перед портретом, висящим на стене. Портрет был цветной и выпуклый. На нём рыжий пожилой амбал с закрученными усами хитро улыбался в сторону, скосив глаза по-кошачьи, и одна его щека была заметно румянее, чем другая.

Нина сняла отцовский портрет, медленно протёрла его рукавом пальто, нарочно нагладелась подольше ещё раз – и понесла к себе в комнату, двумя пальцами: за верёвочку. Потом прошагала в валенках к выходу, не проронив ни слова. Дверь захлопнула прилежно, без злости

– словно тех людей, на которых ей надо было злиться, не осталось больше на свете и словно была она теперь, при живой своей матери, уже полная горькая сирота.

– И не поела, – расстроилась Бронислава. – Щи-то разве виноваты? Поела бы да и пошла. А там, сытая, сердись, сколько хочешь... Щи – они ведь ни в чём не виноваты, ни перед кем.

– Завтра же подадим заявление! – с запоздалой угрозой прокричал Кеша вслед Нине, торопливо вскидывая палец. – Заявление в загс!.. Документы им вечно предъявляй. Не верят они без печати ни во что светлое – и всё тут! На каждом шагу сталкиваюсь с этим чудовищным предрассудком каменного века. По три раза в год, как минимум... А сами – кто?! Закоснелые моралисты! Полная бездарность... Завтра же!

– А чего? – с угрозой в голосе подхватила Бронислава, подтягивая на ногу чулок. – У меня ведь в загсе все знакомые. Вон, Нюронька-то Зайцева. Да ей только шепни! Разве она не распишет?

– Вот и распишемся, – успокаивался понемногу Кеша. – Я же здесь уже. Нарисовался – хрен сотрёшь!.. Наливай. Где тарелки? Погоди, я сам.

И, уже торопливо глотая горячие щи, рассудил:

– А что? Паспорт у меня, между прочим, новый. Без штампов. Представляешь, вышел весной из ресторана – удар по голове. Очнулся летом – парадокс! Денег нет, документов тоже... Снова всё выписывал. И трудовую, и паспорт... Да если бы и штамп был! Подумаешь, делов-то! Всё равно бы расписался... Я их хлоркой сожгу.

– Живёшь ты... как попало, – пожалела его Бронислава. – Так же не живут.

– А я хоть как могу, – с удовольствием ел Кеша. – Ну, давай жить, как живут! Кто спорит? Вот, с тобой и начнём.

– Так я... Я что... Я колхозница. Мы тут, в Буяне, сроду все по-колхозному живём. По-старинному. По-отсталому, – поскромничала Бронислава, и ей было любопытно, что Кеша на это ответит.

– Дай на бутылку! – деловито потребовал он. – Заму надо поставить. Газетному.

– Заму – обязательно! – одобрила она. – Чего ж с пустыми-то руками соваться? Разве без бутылки на работу устраиваются? Оно и не хорошо. Правда, Кеш?

– А хочешь, вместе пойдём? – засобирался он, надевая через голову свой жёлто-зелёный галстук и поправляя его с важностью. – Ты, небось, и в редакции ни разу не была. Заодно и к этой твоей заглянем. Как её? К штамповщице. Если мне не изменяет память, к штамповщице Зайцевой... Можно и вправду заявление подать. Это же солидней: приду устраиваться на работу – почти готовый семейный человек!.. Высококачественный член общества. Приехал с серьёзным намерением. А что? Перед вами – не кент с улицы! Я же всё-таки не хмырь какой-нибудь пресловутый, правильно?.. Одно дело, когда тебя из автобуса выпнули. По ходу жизни. А другое дело, когда ты из него сам, с намерением вывалился. С твёрдым. С матримониальным.

– Как ты точно всё, Кеш, говоришь! – поразила Бронислава, всплёскивая руками от восхищения. – Ну пошли... Ох, прогуляю день! Голова, скажу, болела... Подождёт моё Заготзерно! Что ж теперь.

Она нахмурилась, обдумывая всё ещё раз. И решила снова:

– Ладно, зимой можно... Ничего! Не уборочная, поди-ка.

[[[* * *]]]

За воротами Кеша стал озиаться по сторонам.

– Вот, дер-р-ревня, – ворчал он. – Вся вразброс! Порядок здесь, точно, не ночевал. В отличие от меня... Дома – и там, и сям. То поле, то буераки. Кошмар... Нет, разве можно тут жить образованному человеку?

От всего увиденного он долго морщился, а потом вскричал с тоскою, жалея себя:

– Викентий! И куда ты попал?! Улицы – и те кривые.

– Да как же они прямые-то будут? – удивилась Бронислава. – Овраг, он ведь глубоченный. Его в половодье подмывает. Рядом с ним не выстроишься... А от оврага, вон там, луга заливные начинаются, на сколько вёрст тянутся! До самых озёр... Нет, уж кто в этих лугах по весне заплутал, тот не скоро из комаров-то вылезет. Там ведь не в каждом июле – лывы-то просыхают. Зато трава – ой, буйная! По макушку... Вот, подальше от лугов и строились. А тут – подальше от балок.

– ...И мост, вон, узкий. Вообще без перил! – вышагивая по накатанной дороге, указывал Кеша вперёд. – А если машина попадётся? Там же не разойдёшься! В овраг, что ли, прыгать? Заведомый парадокс! Костей потом не соберёшь... Вот, бездар-р-рность. Есть же, в самом деле, хорошие инженерные проекты! Надо будет подсказать.

Вдруг Кеша озаботился:

– Кстати, начальство какое-нибудь здесь поблизости живёт? В соседях?

И строго наказал Брониславе:

– Познакомь. Обязательно. Влиятельные люди, солидные родственники – мне важно о них знать всё. Всё – обо всех. Подробно. Поняла? Особенно – детали!.. Мельчайшие детали мне вообще о многом говорят. В смысле психоанализа.

Бронислава сильно задумалась. Однако тут же махнула рукой:

– А! Щас познакомлю. Раз надо, Кеш... Я что? Разве я про детали не понимаю? И познакомлю, и расскажу. Всё-всё, как есть! Вот только по дороге кто попадётся – сразу.

Бронислава и сама посматривала по сторонам: не видит ли кто, как она идёт: не одна, а с Кешей. В новом, в синем, пальто. Не в валенках, а в кожаных сапогах. С опушкой. Тесные они, конечно, и скользят. Зато нарядные...

[[[* * *]]]

Улица ожила внезапно. Сначала от Макаровых выскочил рыжий озабоченный кот. За ним – мальчишка лет восьми, в треухе, в коротких валенках и в толстом чёрном свитере, подпоясанном бельевой верёвкой. Кот прыгал в одну сторону, в другую. Мальчишка ловил его красными от мороза руками, однако не успевал схватить и кидался на кота снова. И со стороны казалось, будто он пляшет вдоль улицы вприсядку.

– Вот! Лёха наш! – обрадовалась Бронислава, дёрнув Кешу за рукав. – Гляди, гляди.

Наконец мальчишка ухватил кота за хвост и, пригнувшись, поволок, к дому, как за верёвку. Кот сдался. Он покорно скользил на двух вытянутых передних лапах, прижав уши и не выпуская когтей. Но вдруг вывернулся, перемахнул через сугроб и взлетел рыжей молнией на высокий забор. Потом Лёха вкрадчиво звал кота снизу – «кис-кис-кис!» – и лез к забору, проваливаясь в снег по пояс. А кот не боялся и фыркал на него с высоты.

– Лёх! Иди, с дяденькой познакомься! С городским! Он тут всеми интересуется... Соседями!.. Да что ты к коту пристал, как репей? – строго спросила Бронислава.

– А, ну его! – отвечал мальчишка про кота, не переставая лезть. – Шатуший! Мотался неделю по лесу. Пускай дома сидит. А то ищи его потом, ходи на лыжах целый день. В капкан ещё попадёт...

– Дурак он что ль, в капкан лезть? – не поверила Бронислава.

– ...У, с-с-собака! – обозвал мальчишка кота, запуская в него снежком, но не точно, а нарочно – мимо. – Расселся! Шатуший.

Кот слабо дёрнул ухом, стряхивая снежную пыль, и отвернулся, не собираясь покидать забора.

– А кто капканы-то ставил? Отец ли – кто ли? – продолжала Бронислава. – Кеш! Ты куда? Постой, не беги.

– Ну! – согласно мотнул головой Лёха. – Коробейников да он. Там лисы около птичника ночью ходили. Следов полно. А они капканы-то – волчьи поставили!.. Большие да тугие. Додумались.

– А тебе что? – удивилась Бронислава. – Не на тебя же капканы большие ставили: на лис! Лёха от удивленья сел в сугроб, упёрся в снег голыми руками и онемел, не понимая, отчего Бронислава так поглупела.

– ...Да отрубят же лисе ногу! Она на трёх ускачет! – ругался и хмурился мальчишка из сугроба. – Только лис уродовать наставили, а не ловить.

– Ладно. Может, старая, двузильная, лиса-то попадётся. Как я. Тогда ей, точно, никого не перешибёт! – успокоила мальчишку Бронислава. – Зажмёт только.

– Говорил им! Не слушают. Талдычут оба: «капканы старые, там пружины ослабли». А я палку вот такую всунул – перешибло, аж перекусило! Напополам.

Озадаченный Лёха поморгал с досады, развязал, а потом затянул бельевую верёвку на животе снова – гораздо туже прежнего, большим двойным узлом.

– ...Уж и не знаю: пойти что ль да все их разрядить? Капканы? – раздумывал и вздыхал он, сидя в сугробе.

Кот слушал мальчишку сверху, сощурившись и слегка поводя хвостом.

– Не разряжай. Наплюй на них! – велела Лёхе Бронислава. – Пускай лисы своими головами думают. У них ведь не только ноги есть. Правильно? Голова-то у них тоже для чего-то выросла! Вот и наплюй... Что ж теперь.

[[[* * *]]]

Довольная разговором, она нагнала скучающего Кешу и поскорее уцепилась за его локоть, чтоб не скользить.

– Дикость нравов! – отмечал он, между тем, часто оглядываясь на забор и поднимая ворот «болоньки» повыше. – Отсталость общего развития. И первобытное мышление.

Кот казался ему вылитым рыжим Кочкиным с выпуклого портрета и тем был неприятен. А мальчишка был неприятен своей привязанностью к такому коту.

– Допотопная жизнь в вашем Буяне. Дикость, дикость. Непролазная дикость!

И Бронислава не поняла, про кого это он: кот дикий – или Лёха у Макаровых?

– Да чего там? Оба неслухи, – махнула она рукой на всякий случай, ступая в тесных сапогах мелкими шажками, переваливаясь. – Этот Лёха-то лучше бы и в школу не поступал! Химичить там сразу научился... Вон, гляди, Кеш: почтовые ящики у нас по всей улице раскуроченные висят! Лёха в прошлом году их повзрывал, как только грамотный сделался!.. А Иван-то Корбейников – сварщик. Разозлился, страх: «Ну, в мастерской сварю ящик – из восьмимиллиметровки. Тогда поглядим, как он его взорвёт». Сварил. Не ящик – танк стальной на забор-то повесил. Уж Лёха этот мимо него ходил-ходил! Кругами, кругами. Всю голову свою искрутил. Потом пропал, гляди-ка, аж дня на три. Опилки в сарае заготавливал. День-деньской на всю улицу напильником скрежетал. Пока ни одной алюминиевой ложки у матери не осталось. Кеш, слышишь? Про соседей-то ты спрашивал?

– Слышу... – буркнул он на ходу.

– Ну и вот. Про них, значит. Ни одной ложки алюминиевой у Макаровых-то уже нету! Из-за Лёхи этого. Нержавейками они теперь едят. И под вечер гляжу из своего окошка: что-то мальчишки на той стороне, под черёмухой, больно смиренно стоят? Напротив Иванова дома. Прямо подозрительно... Думаю, Зинаиде, что ль, в окошко стукнуть, пока не поздно? А уж там Иван Корбейников, сам, за шторкой своей не дышит, к щёлке припал. Ну и я тоже – смотреть потихоньку стала. Ага: побёг Лёха к мальчишкам, под черёмуху, от Иванова забора. И взрыв как бабахнет! Мы и выскочили: Иван из своего дома – я из своего. Батюшки-светы! А мальчишки и не разбегаются: с разинутыми ртами на ящик глядят: столбняк на них нашёл... Дымится, значит, этот ящик, почтовый, как паровоз, а сам – целёхонький. Только был он раньше четырёхугольный, а стал – круглый как бочонок!.. И Иван Лёхе говорит: «Видишь? Раздуло. А – не разорвало!» Лёха-то и смирился: «Вижу, – говорит, – дядька Иван. Твоя горка вышла». Ну, почтарь приходит наутро газету совать – что такое, ящик за ночь покрутел?

Пузатый висит. Прямо ведро какое-то стал. Вроде – закоптелое, с рыбалки. И как в него почтуют совать, полукругом, что ли?

– Хочешь сказать, перевоспитался? Мальчик? Этот юный бандит? – недоверчиво перебил её Кеша и дёрнул плечом с досадой. – Не понимаю, о чём можно было с ним говорить, когда у него на лице написано: потомственный разбойник.

– Да у меня и Витёк такой же рос... – растерялась Бронислава. – А Лёха – он перевоспитался, Кеш! Он ящики-то больше пальцем не трогал... Поджиги только делать стал. И из большой рогатки завучу в форточку наладился стрелять. Бутылками взрывными... Иван его рогатку сам смотрел. Сильно хвалил: царь-рогатку, говорит, Лёха-то придумал. На пружине она, и, говорит, коктейль Молотова хоть куда запустит!.. Ой, да это ведь не Лёха, а семь рублей убытку.

Кеша вышагивал молча. И Бронислава сначала посмеялась немного в одиночку, а потом застеснялась и помолчала тоже.

– ...Завуч-то у них был приезжий. К нашей жизни тоже, как ты, непривычный, – пояснила всё же она. – Галстук с заколкой с бабьей на себе носил. И он Лёху, как дурак, из школы исключил. На свою же голову. Так, веришь-нет – два раза пожар у себя в доме тушил!.. А третьего раза дожидаться не стал. Галстук заколкой на груди покрепче застегнул, да в город сбёг бегом. Вот тебе и детали все... Оно, правда что, съедешь: или Лёху в школе сам же восстанавливай – или сгоришь на корню.

Бронислава решила было, что рассказала всё подчистую:

– Ох, прохлаждаюсь...

Однако спохватилась:

– А теперь мортирку, что ль, какую-то поджигательную Лёха-то придумал? За пазухой носит... А вот какую, даже не знаю. Я что-то и поглядеть не догадалась... Да он к Ивану Коробейникову в мастерскую бегаёт, вот у Ивана ты лучше спроси! Он тебе ещё больше наскажет. Деталей разных. Про Лёху-то нашего... Тебе же все детали надо...

– Да, детали у тебя – зашибись, – проворчал Кеша.

Он хмурился, с неудовольствием глядя на дальний притихший бор, на сонный, долгий полёт галки над заснеженным полем, на крепкие избы, срубленные из толстых дубов. Торцы старых брёвен на углах темнели, будто чёрные многие солнца наступившего белого дня – друг над другом, в ряд. И чёрным отсвечивали стёкла маленьких редких окон, не впускающих с улицы ни ветра, ни холода, ни лишнего взора...

Тишина вокруг была такой строгой, что Бронислава вслушалась в неё поневоле – и оробела. И поняла: зря она всё рассказывала. И смеялась нарочно нараспашку – тоже зря. Нехорошо так... Будто выскочила она на улицу, как незрелая, как полудура какая, и наскоморошничала, не помня себя, в угоду чужому, случайному прохожему, а теперь не знала, как же и зачем это вышло.

И всё вокруг было теперь ей в укор: в укор качался и трепетал уцелевший сухой лист на заснеженной берёзе, в укор молчали собаки за серыми тесовыми заборами, в укор желтел и тоскливо светился вдали голый глинистый обрыв балки, занесённой снегом чуть не до верху. И пасмурный край неба тяжело приник к тихому бору – тоже в укор... Недовольная собой – «...а зачем я из кожи-то лезла?» – она поскуцнела тоже.

– Ты говори, говори, – вдруг очнулся Кеша на ходу. – Я, между прочим, всё это время пытаюсь выяснить, что у тебя в подсознании. По Фрейд. Это псих такой один был – Фрейд. Иностраный. Ты его не знаешь. Он всех психов научил, как подсознание у нормальных людей контролировать. Меня, между прочим, тоже. Так что, продолжай. В том же духе. Про всякую мелюзгу.

Он важно прокашлялся.

– ... Да Макаровы – они сроду такие! – отмахнулась Бронислава, ничего не поняв про иностранца. – Порода ихняя известная... В гражданскую-то как только чужие на подводе въедут, в Буяне как останутся, так под ними солома и задымится. А это уже Макаров дедушка молодой сверху, с сосны какой-нибудь, линзу большую навёл. Они и скачут назад, портки свои тушат: «Колдовское место, колдовское место!» Да небылицы потом про Буян везде плетут, на людей страх нагоняют...

И возмутилась:

– А какое оно колдовское?! У нас и церковь не закрывалась. Мы после пионерского собрания всем звеном туда молиться ходили. Нам и не запрещалось!.. Везде церкви рушили, а нашу-то небось – пальцем тронуть побоялись! Оно самое чистое место поэтому и осталось – Буян... Тут раньше линзы из песка плавил, в Зыкиной балке, вот такие – по колесу прям... Гляди: вон там, в Шерстобитове да в Ключах, кержаки сами себя в молельных домах как дураки жгли. А мы жгли, но – чужих. Завсегда – чужих только! ... По-моему, так оно и лучше. Правда, Кеш?

Он замедлял шаги, что-то соображая. Потом свирепо оглядел Брониславу. И ничего ей не ответил.

– Чужих, чужих... А я тут при чём?! – озлился он через минуту. – Хм, скрытая пугачёвщина. И поголовная разинщина. Да, европейский путь развития вам не грозит. Впрочем, ты не поймёшь.

Бронислава растерялась, не зная, в чём она виновата.

– Так это – ранешние люди жгли! – догадалась она, как его успокоить. – А при Советах-то уж такого не было! К нам и не лез никто – при Советах... Один, правда, председатель был присланный. Разъединый. Давно. Аж полгода у нас, гляди-ка, проработал... Пока его дядька Нечай графином не убил.

Кеша сплюнул в сторону. Он не спрашивал больше ни о чём. Лицо его потемнело до чугунного цвета. И смотрел он теперь прямо перед собою, вышагивая особняком.

На всякий случай Бронислава вытянула руку из-под его локтя:

– Ох, прохлаждаюсь...

Теперь она шла рядом тоже как посторонняя. А он не замечал этого вовсе. «Вот тебе и детали все, – удручённо вспомнила она разверстый часовой механизм, который чинил когда-то Кочкин на кухонном столе. – Детали-то – все тут, а шестерёнки – разные. Зубцы друг дружку не цепляют. Не совпадают зубцы, хоть тресни!.. Я ему про Ерёму, а он мне всё – про Фому. И ходу от этого нет никакого разговору нашему. И у всех кругом – ходики да ходики, а у нас с ним что-то одни неходики только получают: вот чего!»

Вдруг перед мостом Кеша остановился, будто вкопанный.

– Кеш! – обеспокоилась Бронислава. – Чтой-то ты как рыбьей костью подавился?

Но тень мрачного изумления не сходила с напряжённого его лица.

– Как парализованный статуи ты сделался, – беспокоилась Бронислава. – С сердцем тебе плохо? Кеш! Да что такое-то?

– ... Там, – только и вымолвил он, не шевелясь.

На краю оврага, в заснеженном бурьяне, стоял заржавевший остов грузовой машины без колёс – с разобранным кузовом, но с целой кабиной. Однако мотор её надсадно гудел, словно машина поднималась в гору. Было слышно, как переключаются скорости. Машина просигналила тревожно! Но заработала ровнее, не сдвигаясь с места.

– Там...

[[[* * *]]]

И наконец Бронислава рассмеялась.

– Айда, – сказала она. – Это в кабинке Миня-дурачок сидит. Играет он так! С детства мало говорит, а зато урчит точь-в-точь как машина, не отличишь. И такой у него несусветный

талант – гудеть, что ни один умный не сумеет... Катается каждый день! В машине в сломанной своей. Здоровенный мужик, а, видишь... Ну, умора.

Машина без колёс загазовала с воем...

– Слушай! Тут нет другой дороги? – пришёл в себя Кеша.

– А это – аж по той улице обходить!

– Пойдём по той, – резко повернул Кеша.

– И на кой ляд?.. Миня-то – он же добрый! – догоняла его Бронислава. – Ты Мини, что ли, испугался?

– У меня – предчувствие... Откуда я знаю, что у него на уме? В подсознании? У вашего доброго? Меня уже одна добрая ваша чуть прикладом в гостинице не долбанула, – сердился и отмахивался Кеша, убыстряя шаги. – У них же интуиция как у зверей, у всяких неполноценных. Это с вами он – ничего, а чужого... Шандарахнет, по своей доброте, монтировкой. Или запчастью какой ржавой. Устроит парадокс, с последующей реанимацией. По ходу жизни... У меня один кореш был. Добрый тоже, кстати. А в психбольнице отлежал – и стал людей накачивать. За неправильный ход мыслей!.. Мысли там научился читать, представляешь? Его гипнозом перелечили. И он от гипнотизёра приёмов нечаянно нахватался: передозировка в него перешла. Прочитал одну мою мысль – до сих пор на башке шрам, – почесал Кеша под шапкой.

– А что за мысль у тебя там раньше была? – показала Бронислава пальцем на его голову. – Под шапкой, в подсознании?

– Да так. Обыкновенная. Подумал, как только его с диагнозом выписали: и к чему теперь этому шизофренику – нормальная жена?.. Ну, она учительница была. У неё специальность такая: учить. И вот она его учила – день и ночь: круглосуточно. Не останавливалась. Его уже в психушку везут, а она за скорой помощью по дороге бежит и вдогонку ещё его учит, сквозь железную дверь, с вытаращенными глазами. Не успевает изложить всё как следует, до конца. Профессия у неё такая – воспитывать каждого. Призвание. А бёдра, между тем, вполне приемлемые. Как будто и в институте не училась.

Он прошёл ещё несколько шагов, перебирая прошлое.

– И как это люди на училках женятся? – строго спросил он Брониславу. – Можешь ты мне объяснить?

Она засмеялась и пожала плечами.

– Всю жизнь потом в учениках живут! – поражался Кеша. – Или – на медичках?!.. Медичка – ещё хуже: она же в любое время тебя нужным препаратом отравит безошибочно, как специалист! По науке. Один неверный шаг с твоей стороны – и ты на том свете. Две таблетки тебе протянула, вместо одной: бабах – инсульт. А будет считаться, что ты сам их взял... Нет, никогда не подвергал себя такому справедливому возмездию. В вопросах женитьбы я вообще очень разборчив. По ходу жизни... А училка мне потом вот эту шапку шизофреникову насовсем подарила. На память. «На! – говорит. – И сгинь! С меня одного дурака достаточно». Я же к ним жить пришёл, потому что у меня в ту зиму шапки не было. Совершенно неотразимый! Нарисовался – хрен сотрёшь!.. Она глаз на меня, между прочим, сразу положила. Только разочлилась, что я её надежды на кухне не оправдал. Думала, я настойку левзеи выпить не догадаюсь. Из домашней аптечки. Рассвирепела до безобразия... А сама, между прочим, кокетничала после уроков как бешеная! Вращала передо мной своими глазными яблоками – просто напропалую. Причём обоими сразу. Особенно за ужином... Но ты же меня знаешь!

– Пришли, – дёрнула его за рукав Бронислава. – Стой.

Кеша с недоумением принялся читать вывеску на бревенчатом доме, длинном, будто казарма.

– Как у вас, в Буяне, загсы... – близко! – поразился он, мрачней. Однако на крыльцо шагнул уверенно.

[[[* * *]]]

Они попали сначала в тёмный длинный коридор с певучими прогибающимися половицами и долго шли, как слепые: держась друг за друга. И поворачивали в кромешной тьме дважды или трижды. Наконец Бронислава и Кеша нащупали дверь, обитую дерматином.

В загсе никого не было. Только заведующая стояла на столе и прилаживала над окошком гардины с новыми негнушимися шторами. Бронислава заглянула сначала, а потом шепнула Кеше через плечо, в темноту коридора:

– Ч-ш-ш, тут постой. Я одна пока... Уйди только с этой половицы – скрипит.

Зайцева обернулась, не опуская рук:

– Бронь? Ты что ль? С кем ты там толчешься?

– Да вот, говорю: ну и Анна Павловна, красоту наводит. Весёленький матерьяльчик, это почём такой? У нас выкидывали? Прямо весёленький.

– Слышь, ты убери-ка мне с окошка «Ваньку мокрого», а то ведь точно занавеской поломаю...

Бронислава перетащила тяжёлый горшок с цветком на стол.

Полюбовавшись шторами, Зайцева сказала:

– Всё! – и тяжело спрыгнула со стола.

– Гляди, как он у тебя хорошо растёт, – кивнула Бронислава на разросшийся огромный куст, усыпанный сплошь мелкими алыми цветками.

– Не скажи! – посуровела Зайцева. – Совсем доходил. Думала: не жилец. Домой брала да водой, которой мясо мыла, поливала. Дух от земли, правда, тяжёлый шёл. Зато смотри, как окреп: пальцем ткни – брызнет. А бутончиков-то видишь сколько набил? Цветёт всю зиму без роздыху.

– Тебе смородины кручёной, Нюр, надо? Я много накрутила. А вчера банку достала да про тебя вспомнила. Думаю, Анна Павловна сегодня совсем без смородины сидит.

– Ох, не говори. У кого огороды в низине, смородина совсем не уродила. Вода-то в этом году когда сошла... Ну, оно ведь с трёх сторон – Обь. Считай, полуостров. А раньше, говорят, вовсе остров был, – завздыхала Зайцева. – Остров Буян... Как же тут низины не зальёт? При половодье-то при большом?

– Поздно, ой – поздно, Нюр, вода спала! А меня, прямо с весны самой, мужик один всё сватал...

Зайцева непонимающе заморгала светлыми ресницами.

– Я на базаре ведро чёрной брала, – сказала она наконец. – Вареньем переварила... А кручёной – нету.

– Ну я тебе пару банок дам. Заходи.

– И что за мужик?

– Да ты не знаешь. Он в каждом письме сватал, а я не соглашалась. Думаю, кто их, городских, знает, – отщипнула Бронислава с «Ваньки мокрого» пожелтевший листок, заботливо отыскав его у самых корней. – У нас и моды-то здесь такой нету, не за здешних выходить. За озёркинских ещё – так-сяк, а уж за шерстобитовских – нет. Не говоря про городских... Ну вот он щас ко мне приехал.

– Батюшки! – взмахнула руками Зайцева. – Страх какой...

– Он уж на работу устраивается. В редакцию. У нас работать будет, – похвалилась Бронислава со скромностью. – Обещали ему.

– Ну?! – не поверила Зайцева.

– Ага. Говорит: айда распишемся, на этой работе нельзя не по закону жить.

– А ты что?

– А что я? Думаю, вот: с Анной Павловной посоветоваться надо. Она законы знает... Даже не знаю, расписываться что ль? Или погодить? Всю голову себе изломала. И вдоль, и поперёк.

Зайцева подпёрла веснушчатую щёку рукой, строго сдвинула густо накрашенные брови:
– Ну он тебе-то как? Самой-то?

Бронислава вздохнула, потупила глаза. Потом выискала привядший крохотный цветок. И сорвала прилежно, неторопливо:

– ...Нравится, Нюр. Что нравится, то нравится.

– Ну а кого же тогда советоваться? Город из-за тебя, гляди-ка, бросил!

– Он тут, в коридоре ждёт.

– А-а-а! – в изумлении открыв рот, Зайцева тут же зажала его ладонью и стала опасно поглядывать на дверь сквозь цветущий куст.

– А я ему говорю: как шас Анна Павловна скажет, так и будет. Я что думаю? – зашептала Бронислава, пригибаясь к столу. – В один день, думаю, расписаться-то лучше, без шума. Правильно, Нюронька? Потихоньку.

Зайцева отряхнула извёстку с кофты, поправила жёлтые кудри над чёрными бровями и немного подумала.

– Зови! – хлопнула она ладонью по столу.

Но дверь запахнулась тут же, до всякого приглашенья.

– Что, лампочку вернуть нельзя, в преддверии семейной жизни?! – сердито шурился Кеша на свету. – Загс называется... Тоже мне, ботаники. Держат людей, как в погребе! Без всякого фотосинтеза, проклятье... Тут, в вашем коридоре, самый цветущий жених поблекнет. По ходу жизни... Вот, дер-р-ревня. Пока не подскажешь...

Зайцева сначала широко раскрыла глаза – а потом отрезала:

– Там у нас – женихи временные, в коридоре-то. А постоянный – вот он, раскудрявый наш: «Ванька мокрый». Весь на свету. Нам этот – главней. А всякие залётные перебыются. За пять минут не облезут... Облезлые тем более, – прибавила она с вызовом.

– Какие пять минут?! – взвился Кеша. – Я, образованный человек, поэт, художник, должен битый час торчать в темноте чиновничьих лабиринтов!.. Проклятье. Другой бы художник, между прочим, давно сбежал. Из вашей тьмы веков. Если бы дверь, конечно, нашёл... Особенно, если бы магазин рядом был.

Зайцева между тем придвинула к нему бумаги.

– Ну, шутник, – неодобрительно сказала она про Кешу. И задумчиво заметила, разглядывая его с ног до макушки. – Ладно. Пускай пошутит. Напоследок. Минут пятнадцать ему осталось. Ты шути, шути.

– Какие тут шутки? – обиделся Кеша. – Западня у вас, а не коридор. Без окошек, без дверей. Загс сконструирован по принципу мышеловки! Выскочить невозможно... Впрочем, вам, всевозможным женщинам, не понять. Так, сесть куда?

[[[* * *]]]

Бумаги он решил заполнять сам. И долго с оторопью смотрел в паспорт Брониславы.

– Старая, что ж теперь! – весело сказала Бронислава, стоя за его спиной. – Ничего. Не намного... Ты, вообще-то, старей выглядишь.

– Уж это точно: не больно-то раскрасавец. А она у нас – ягодка опять! – со смехом поддержала Брониславу Зайцева.

Но Кеша от «ягодки» не развеселился. Он писал всё медленней, хмуро выводя полупечатные буквы. В кабинет, между тем, вошёл, пригибаясь, огромный старик – в новых негнущихся валенках и в новой чёрной спецовке. Фёдор Фёдорыч, бывший конюх, был теперь здесь истопник и сторож, и четыре дня назад получил со склада всё ненадёванное.

– Доброго здоровьица, – степенно поклонился он Брониславе, коротко глянув из-под всклокоченного чуба. Пегие с сединой, волосы его дыбились своевольно и жёстко, высокие скулы были обветренными и шершавыми, а узкие глаза – насторожёнными, как у лесного чуткого зверя: они горели уверенным, беспощадным светом.

– И вам не хворать, – поклонилась ему Бронислава.

– Витёк чего пишет? – сдержанно спросил старик из-под потолка, оглаживая бороду, торчащую во все стороны подобием сухого терновника.

– Пишет, служит.

– Поклон ему от меня черкни. Мол, Фёдор Фёдорыч стараться наказывал, – распорядился старик со своей высоты. – Отпиши: буянские завсегда веселей всех команды исполняют – и завсегда в живых остаются! Запоминай, дочка. Помереть, отпиши, никогда не торопись! Потому: помереть – дело не хитрое, и мы к нему – не способные. А ты всех победи, да без царапины сам останься – вот где ты молодец умный выйдешь! Молодец-удалец. Да... Буянские – мы все с пелёнок так приученные. То-то и оно... Больно пьющих-то у нас нету и сроду не было. И мы из-за этого всегда в силе! И в силе, и при ружьях, и в полном весёлом уме... Отпиши, дочка, в точности: не забудь!..

От диктовки старика Кеша морщился, резко вздыхал, и ручка его то и дело зависала над казёнными бумагами в воздухе, будто в недоумении.

– Отпиши! – вдохновлялся старик всё больше. – Пускай враг помирает, тудыт его растудыт! Потому: вражье это дело – помирать, а – не наше! Епонец ли, китаец – нам разницы нету: любой пускай наскочит! И мы его тут грамотно упокоим... Немца кто от Курска поворотил? Отпиши: буянские. Пока цельный полк наших не пригнали!.. А без нас бы – кого?..

Фёдор Фёдорыч махнул рукой и стал сидеть без дела на стуле, под картиной, оглаживая свою жёсткую, разветвлённую бороду с важностью.

[[[* * *]]]

– ...Видала ты нашу картинку? – заскучав, спросила Зайцева Брониславу.

И указала пальцем:

– Вон она висит. Художник, который все колдобины здесь срисовал, помнишь его? Тоже художник, как твой... Ему дядя Федя про молодость рассказывал. И вон, гляди, как он его молодого раскрасил, дядю Федю нашего. Протянул.

Зайцева, Бронислава и полуобернувшийся старик полюбовались на картину вместе. Там исполинский дядя Федя, устремившийся с Буянской горы вниз, рвал на себе белую рубаху. А две дюжины мелких румяных бабёнок в цветных полушалках сдерживали неистовый его порыв – висли на руках гроздьями, болтая в синем небе ногами, и не доставали щегольскими красными сапожками оттаявшей земли.

– «Буйство Фёдора по весне!» – с гордостью огласила Зайцева название картины. – Говорят, такая же в музее где-то прибитая есть. Только там вместо баб на руках у дяди Феди хомуты висят. «Фёдор с хомутами» называется. Не помнишь, в каком музее-то, дядь Федь, ты на стенку прибитый висишь?

– В Сквык-твык-каре, вроде? Забыл я... Это что! Если б он про Халхин-Гол нарисовал! Я ведь ему про Халхин-Гол толковал, а он... Про это у нас красками и Миня-дурачок наваракает... Чугунок-то с картошкой ставить на плиту, иль погодить? – спросил старик у Зайцевой. – А то у нас, на Халхин-Голе, разведёшь, бывало, в ямке костерок, а большой – нельзя: степица!..

– Погоди, дядь Федь, – отмахнулась от него Зайцева, потому что Кеша кончил писать и сидел теперь, заносчиво отвернувшись от Фёдор Фёдорыча и нервно качая ногой.

– ...Твой что ль? – спросил старик Брониславу, глянув на Кешу мимолётно и хмуро, из-под низких лохматых бровей. – Ишь. Барбос.

– Нет ещё! – улыбнулась она Фёдор Фёдорычу. – Ничей пока что. Не занятый.

Кеша по-прежнему не обращал на старика своего внимания. Только ещё выше вздёрнул подбородок и поправил кривой узел галстука.

Покашляв для солидности, Зайцева сверила написанное с паспортами. Потом в мгновение ока достала из ящика стола четырёхугольную печать,дохнула на неё – и вдавила в Кешин паспорт с недюжинной силой.

– Как?! – вскричал потрясённый Кеша. Он привстал со стула. – А месяц думать?!!

Но строгое покашливание Зайцевой заставило его сесть снова.

– Вы сюда думать ехали – или жениться? – постучала она по столу кулаком. – Тут вам – учреждение, между прочим! До сорока лет он в городе не надумался, видите ли. Во всех удобствах в своих.

Зайцева прицелилась – и хладнокровно шлёпнула печать в паспорт Брониславы.

– Ну, жениться!.. Приехал! Жениться! По ходу жизни! – взбеленился вдруг Кеша. – Как вы могли предположить... И возмутительно! Просто возмутительно... Я что, не понимаю? Это же солидней: женатый человек и всё такое! Есть жена, дом... Это вам – не кент какой-нибудь с улицы!.. Но у меня же чистый документ был! Без штампов!.. Всего месяц. Был. Чистый...

Фёдор Фёдорыч слушал, почёсывал то одну, то другую ногу, натёртую жёстким краем неразносившегося валенка, и бормотал что-то себе под нос, неодобрительно косясь на Кешу. Впрочем, долетало временами и нечто внятное:

– Хох ты! Барбос... Фу ты, ну ты... Женишок!.. Женишок. С вершок. Выбил хреном потолок...

Кеша схватил свой паспорт со стола и принялся изучать печать как следует.

– ...Жирная какая-то! – сказал он с отвращением.

– Что-о? Не нравится?! – грозно удивилась Зайцева.

– Да нет, нравится, конечно. Нравится... Только печати у вас тут... слишком жирные! – упорствовал он. – Разве можно порядочным людям такие штампы всобачивать?! Был новый паспорт, а теперь – печать, чуть не насквозь. Зарегистрировали, называется. Навылет!..

И Фёдор Фёдорыч рассудительно заметил, сидя под картиной и расправляя усы:

– То-то. У нас места строгие, тудыт-растудыт. У нас не забалуешь.

А потом повторил гораздо громче, нарочно для Брониславы:

– Ничего, дочка. У нас – не забалует! Мы ведь там, на Халхин-Голе... Воткнул, я помню, в него штык! А он – верещит, как заяц! Как заяц, верещит.

Фёдор Фёдорыч, воодушевившись снова, тут же встал во весь свой исполинский рост, мотнул под потолком косматой головой. И сначала показал, как он воткнул штык в поверженного наземь врага, с полного большого и аккуратного замаха. А потом поверещал тоненько, – «и-и-и!» – изображая японца и шурясь для сходства.

– Ой, дядь Федь, иди картошку вари, – отправила старика Зайцева, затыкая уши.

И пожаловалась Брониславе:

– Я этого японца слышать не могу! Мне от него прям каждый день в груди тошнёхонько.

Старик неохотно двинулся к двери в негнущихся своих валенках.

– Какая ты старшина выросла, Нютка, – ворчал он на ходу и косился на Зайцеву. – Хох! Тебя на передовую – ты всех супостатов, Нютка, щас построишь по ранжиру и веником утонишь до самой границы. Дай тебе волю – две возмёшь... Ты бы лучше теперешних генералов, Нютка, поучила! А то они нынче – не рыба, не мясо, во рту мухи пасутся, тудыт-растудыт.

– Всё. Поздравляю. Особенно вас. Супруг! – сказала Зайцева Кеше, не пожав его протянутой руки.

Помедлив, он сунул паспорт в карман и вышел вслед за стариком, независимо приподняв правое плечо.

– ...Не Сквык-твык-кар – Хантыйск-Мансийск! – раскатисто доносилось в приоткрывшуюся дверь из дальних глубин тёмного коридора. – А кто поворот войне сделал? Вот то-то и оно: богатыри – не вы! Тудыт-растудыт... Буянские сделали!..

И оглушительный грохот уроненной стариком печной заслонки сошёл сначала на пляшущее дребезжанье, а потом – на долгий звон, который затих, наконец, под грозный стариковский окрик:

– Куда из рук скачешь? Стоять!.. Смирно! Распрыгалась, дурында...

[[[* * *]]]

Зайцева всё это время с жалостью смотрела на притихшую Брониславу, сидящую по ту сторону куста, понурившись. Но едва Нюронька открыла рот для прямого и беспощадного разговора, как Бронислава встрепенулась:

– У Фёдор Фёдорыча бок-то у коровы – хорошо зажил, что ль? – вдруг озаботилась она.

– ...У Вислы? Давно уж зажил, – не сразу откликнулась Зайцева и принялась убирать бумаги в шкаф. – Этот, бык-то у них, Одер, ещё в августе её рогом пропорол. Вислу... Ну, его, видишь, Хасан напугал. Кинулся, как дурак, залаял. Не на цепи был, Хасан ихний. Одер и понёс. С места да в карьер. А Висла как раз в стойле сено жевала. Ну и шарахнулась. На Одеров рог... Я так от дяди Феди слыхала. А другие говорят: Одер, вроде, Хасана лягнул, а Хасан и не виноватый на солнышке лежал. Потом уж залаял. Не знаю... Дяди Федина сношонка всё креолином мазала, рану Вислину. Чтоб мухи не наплевали.

– А я когда узнала, так я за Вислу переживала! Прямо страх, – торопливо засокрушалась Бронислава. – Ой, Нюр. Жалко её было, никаких слов нету. Корова-то – ведерница!.. Креолином, говоришь? Не марганцовкой? Вот, помогло, значит.

– Быстро, Бронь, помогло. Только молоко с месяц креолином пахло. Хасану его выливали... Она уж стеленая ходит, Висла! Доить бросили.

Зайцева запирала теперь ящики и створки шкафа, часто пощёлкивая жёлтым ключом.

– Ну? – удивилась Бронислава, неотрывно следя за её веснушчатými проворными руками. – Рано как... А Одер что ль Вислу покрыл? Или в стаде она огулялась?

– Он.

– Гляди-ка, подпустила она его, – удивилась Бронислава. – После этого... Простила, значит. Одера-то. Висла.

– А куда ей деваться, в одном дворе? – снова уселась за стол Зайцева. – На развод, что ль, с Одером подавать?

– Ой, точно, Нюр! – поспешно согласилась Бронислава и покивала сочувственно. – Им, коровам, так! Им нелюбо – да смейся.

Зайцева сосредоточилась и сдвинула брови, во второй раз настроившись высказать Брониславе всю свою правду – про такое замужество, сомнительней которого и не придумаешь. Но Бронислава и тут опередила её с ловкостью:

– Он как, Фёдор Фёдорыч, вислиного телёнка-то назовёт? Придумал что ль?

– Ну... – кивнула Зайцева и сбилась с основной мысли. – Придумал. Если тёлку – Эльбой.

– А бычка? – ещё больше оживилась Бронислава.

– Бычка? ...Прут, вроде, – нахмурилась Зайцева. – Не прут, а Прут. Речка такая военная у них была.

– Русская речка-то наверно. Если Прут...

Они помолчали.

– ...А я гляжу: чтой-то Хасан у них всё на цепи да на цепи? А это значит, после того случая, – поняла Бронислава.

– После того. Не спускают они теперь Хасана. Разве только на ночь. Доверие он у Фёдор Фёдорыча потерял.

– А-а-а... А свинья-то у них пятнистая, здоровая ходит?..

– Свинья – Шпрея.

Они помолчали снова.

– Ну ты, Броньк, и нашла, – не выдержала и посочувствовала всё же Зайцева. – В мужья-то себе. Одет как прощельга. А уж купоросный!.. У нас хоть мужики как мужики. И спокойные – и при силе. А этот... Судорга и судорга. Нет, на лицо он, конечно, ничего. На артиста какого-то похожий. А так... уж больно городской. Ручки-то – слабенькие, коротенькие. Брюшко-то – вислое... Пряма кенгуру.

– Хватит вам! – вдруг решительно остановила её Бронислава. И, промахнувшись, вместо отжившего цветка оборвала хороший. – То барбос, то кенгуру. Заладили... Пускай кенгуру, зато моё!

– Ну ты приходи, Нюр. За смородиной, – тут же сменила она тон на самый скучный. – Сумку только большую возьми. Чтоб две банки встало.

– Да ладно! – вздохнула Зайцева, перетаскивая «Ваньку мокрого» на подоконник, подальше от Брониславы. – Чего уж – две. Если б ты за нашего, за путёвого выходила. А за такого-то... и одной банки много: некуда девать.

– А вот это мы поглядим! – Бронислава с фасоном понюхала сорванный непахнувший цветочек. – Охх, продешевишь, Нюрк! Чую – точно продешевишь!

И растёрла его накрепко, а потом похлопала, стряхивая ладони:

– Ну, побегла я, Нюр. Всё!.. А то задубел там, поди. На холоде. Викентий-то. Нам ещё к нему на работу заскочить надо. В редакцию. Ох, прохлаждаюсь я нынче, а у самой – с позавчера с самого половики не трясённые.

– Перетрясёшь дотемна, – неприветливо заметила Зайцева. – Лежат они и лежат. И никуда они из дома не убегут! Половики. Не как дурные мужья... Ладно. С новым счастьем тебя, Бронь.

– А что? – приосанилась Бронислава и широко развела руками. – А я от своих счастья и не отказываюсь!

[[[* * *]]]

Из загса Кеша повёл Брониславу в редакцию. Бледное солнце, похожее на луну, забывшую уйти в ночь и заблудившуюся в дневном тяжёлом небе, слепо глядело сквозь серую недвижную пелену. И заснеженная земля была теперь ярче и светлее небес. Она освещала снизу пасмурные, нависшие над селом, облака-сугробы.

Брониславе было странно ступать по светящемуся снежному пространству и немного неловко, как если бы она шла по нечаянно упавшему под ноги небу. Но низовой ветер уже начинал полегоньку сметать снег на дорогу, расчищенную бульдозером. И мелкие языки белого пламени стлались по ней, рвались куда-то и угасали. И быстрые призрачные тени сновали за ними, исчезая.

«Расписанная иду», – думала Бронислава с осторожностью, чтоб не сглазить. И вздыхала: «Уж не знаю: к худу ли, к добру ли, а всё ж – расписанная! Не так себе».

Кеша держал её под руку, будто полусонную. Ему давно хотелось идти быстрее, а она с непривычки двигалась теперь в тесных сапогах совсем короткими, частыми шажками.

– Хм... – нетерпеливо поглядывал на неё Кеша. – С китайской императрицей я бы добрался до районной газеты гораздо быстрее, чем с тобой.

– Да сапоги... Пряма сами ездют, Кеш, во все стороны. Даром что на заказ шитые, – оправдывалась Бронислава, не прерывая своего тщательного, прерывистого движения по ускользающей из-под ног земле, похожей на небо: туп-туп-туп... – И надела утром, они капли не тёрли. А теперь усохли что ль? Даже не знаю.

– Не надо было надевать. Если тебе их скроили из шагреновой кожи, – заметил Кеша весьма неодобрительно.

– Нет, Кеш. Они из телячьей. У нас Корней Платоныч-то из дерьма не шьёт. Даже не берётся.

Чтобы двигаться побыстрее, она сама уцепилась за Кешин локоть. И всё рассуждала:

– Была бы я в валенках, за мной бы никакая императрица не угналася. А если ты, Кеш, по-другому считаешь, ну тогда и женился бы на ней. На китайке! А не на мне.

– Как-нибудь в другой раз. Непременно! – пообещал он.

И завздыхал:

– Эх, знал бы Хрумкин, как быстро я погружаюсь в тину бессмысленного супружества, в очередной раз... Снова потянула меня женщина за собой, на дно семейной жизни! Он мне предрёк, между прочим, что как художник я состоюсь в той самой мере, в какой отброшу от себя всё, кроме своего творчества. Флейту изо рта вынул и предрёк... Кстати о погружении: что ты про своего сына говорила? – вдруг озаботился он.

– Когда? Я и не успела... А кого говорить-то? Ты его на карточке видал. Над календарём она висит. С автоматом которая.

– И что с того?

– ...С которого? – не поняла Бронислава.

Она поправила шаль под подбородком, перевела дух и заулыбалась в ожидании ответа.

– Ну и что ты молчишь, как бешеная?! – не выдержал он. – Должен я иметь представление, в конце концов, кто у меня в родственниках обнаружился? По ходу жизни?

– А-а, – махнула рукой Бронислава, двинувшись снова. – Витёк-то? И учился, вроде на четвёрки, а по поведению... Я, Кеш, за один карбид пять раз в школу вызывалась. Не говоря про калоши. Про директорские. К полу гвоздями прибитые... Ну, он, директор, по лыжным гонкам классы неправильно судил. Домой уж было собрался, чосонки свои белые надел, в калоши ноги-то сунул. Да и упал в них, в прибитых, в своём кабинете, вниз лицом. Плакал даже. Даром что буянский... Витёк потом его даже пожалел. Сам прощенья просить пошёл. А директор-то заплаканный как упёрся – так и не простил. На педсовет его вынес, Витька. Ну, пока они голосовали там, за двойку по поведению, Витёк тогда всю одежду учительскую через петельки на один замок, на навесной, нанизал да на ключ и запер. На вешалке прям. Пола к поле... Учителя эти толкутся после педсовета, а ни одно пальто от другого не отцепишь. И ключа нигде нету. Им – хоть каруселью, спина к спине, домой нараспашку иди: вот как наголосовались... Сторожиху ведь к нам домой присылали. Передали с ней: двойку на тройку Витьку исправили, чтоб он ключ шчас же отдал. Вот, в одиннадцатом часу ночи польты-то свои и разомкнули... Ну, разве они, учителя, не понимают? Дети, шалят помаленьку... А зато, когда Нина училась!..

Но Кеша, не дослушав, побежал вперёд, натянув вязаную шапку до глаз. Он похлопывал себя по плечам, и Бронислава едва поспевала за ним следом. Тогда она отстала нарочно: «И что мне теперь торопиться?» Потом отряхнула полу пальто просто так, для красоты. И сощурилась ему вслед: «А-а, пускай, расписанный, хоть в какую сторону бежит! Никуда не денется. Пошарашится разве только, а уж – всё: на кукане, считай... Может, Нюроньке ещё мешочек земляники сушёной дать? Попозже? Они ведь в этом году на просеку, вместе со всеми, не ездили. Не собирали. Зайцевы».

И решила окончательно, пошевеливая в сапогах пережатыми пальцами ног: «Радёхоньки будут небось: отдам! Правильно. Пускай пирогов с земляничкой напекут. Да и едят пускай с медком. За наше здоровьице!»

Сама с собою, Бронислава стала вспоминать на тихом ходу, как летом к ним в Заготзерно заглядывала одна из редакции этой, свиристелка. Дяди Паши Струкова племянница. Сама – плоскодонка, а вся в обтяжку. Говорила только с начальством, да бойко так... Иван Павлыч и рта не успевал открыть, а она уже всё за него скажет и в блокнотик это самое всё запишет.

«Они там вон какие! В редакции-то. Модней городских. Незамужние все, небось, – с тоской думала Бронислава и чувствовала, что волнуется. – Отбить не отобьют, а нервы мне пожгут, помотают... Хоть бы уж не устроился, что ль...»

[[[* * *]]]

Редактор из командировки ещё не вернулся. Кеша усадил Брониславу в комнате с табличкой «Секретариат», а сам побежал в гараж искать зама.

Брониславе было жарко. Она расстегнула полы нового пальто и сидела, неудобно сдвинув для приличия колени. В комнате пахло лежалой бумагой. Забегали люди, не румяные, курящие без остановки. Они стояли вокруг стола одной женщины – тесно, как маринованные огурцы в банке. Говорили непонятное – про квадраты, про шапки, про собак – и выбегали пулей.

На Брониславу никто почему-то не смотрел, хотя Бронислава всякий раз выпрямлялась. Глянула только плоскодонка, та самая, но мельком. «Ещё сильнее, гляди-ка, обтянулась, – неодобрительно поджала губы Бронислава, проводив её долгим пристальным взглядом. – ... Бедняжка. Совсем её, значит, никто замуж не берёт, если уж так-то вся выщелкнулась».

А женщина, полная, солидная, с гладким лицом, всё сидела за столом и всё чертила по железной линейке цветными карандашами косые кресты на плохой большой бумаге. И Бронислава не поняла, то ли это Сашки Летунова тётка – тех Летуновых, что на курмыше живут, то ли сватья Макаровых.

Наконец женщина швырнула карандаш на стол. Ей было скучно, и людей, которые всё время забегали и тревожили её, она за это не любила. Бронислава видела, что ей хотелось думать про что-то своё, не очень весёлое. Огромная меховая шапка была нахлобучена у женщины по самые глаза. «В песце трудится, причесаться не успела, – поняла Бронислава. – А муж – пьёт или больной». И ей стало немного спокойней.

«Надо будет Зинаиду спросить, кто муж-то у этой бабы, – наказала она себе, чтоб не забыть. – И если только он её бьёт, пускай мыло ему в баню даст. Которым покойника обмывали. Один разок он руки этим мылом, покойницким, намылит – они у него и не поднимутся. Замахиваться, конечно, будет, да прыгать, как петушишка, а уж ударить – нет... Пряма сейчас её про мыло научить? Иль погодить маленько?»

Но тут дверь распахнулась во всю ширь. В секретариат по-хозяйски влетел Кеша.

– Нет зама в гараже! – сказал он, и в комнате запахло водкой.

Волна запаха дошла до женщины, она сморщилась, помахала перед носом рукой, но промолчала.

– Рассказ правили? – враждебно спросил женщину Кеша.

Та протянула ему соединённые скрепкой листы, потёртые на сгибах. Кеша подозрительно осмотрел первый лист, второй, третий, швырнул их на стол и сказал женщине, подбоченясь:

– Не смейте править мои вещи! Этот рассказ без правки передавала радиостанция «Юность»!.. Вы зачем вот тут начеркали? Вашей бездарной рукой? Вот тут? Тут?.. Вы что, того? – он покрутил пальцем у виска.

– Ах, скажите пожалуйста! Писатель к нам появился! Свет в массы принёс! – пронзительно закричала женщина, и скука сошла с её лица. – Как мы вас тут ждали! Все глаза проглядели.

Бронислава увидела, что ругаться ей нравится гораздо больше, чем чертить. И передумала говорить про мыло. «Зевластая, – косилась она на женщину. – Эта и без мыла с кем хочешь справишься. Даже лучше, чем с мылом... Там и мужа-то, поди, уж никакого нету. Сбежал, небось! Убёг он бегом... И дом у неё, поди, давно бессобашный; безмужний дом стоит, вот что!»

– Мы вообще не притрагивались к вашему материалу! – с удовольствием кричала женщина. – Это не наша правка – вы его уже с правкой принесли! И масляные пятна на нём уже были. А мы ваш рассказ ни в каком виде не берём! Везите обратно в город весь свой бред! Печатайте его у себя. Забирайте сейчас же!

Она с силой двинула листы по столу от себя – к Кеше. Тогда, пряча их за пазуху, Кеша пообещал с угрозой:

– Ну, вы за это ответите! Я, между прочим, не одного начальника сместил! По ходу жизни. За всяческое неисполнение своих обязанностей... Если мне не изменяет память, вы ушли вчера с работы раньше на пятнадцать минут! Хотя я с вами ещё пытался разговаривать насильственным путём, вы махали на меня шапкой, как ненормальная, и ещё кричали мне в спину всякую дребедень: про птиц без запаха, про цветы без голоса! Дерзили, между прочим! А ваш редактор знает про ваши скверные повадки? Он что, не в силах решить один ничтожный кадровый вопрос?

Но договорить ему не удалось. Потому что женщина спросила напевно:

– Чего-о? – и встала из-за стола неожиданно легко.

Схватив оторопевшего Кешу за галстук, она вывела его, как овцу на верёвке, в коридор, а потом оглушительно захлопнула за ним дверь.

– Мне с утра нынче нервы мотают, – пожаловалась женщина, утирая лоб батистовым платочком, вытасканным из-за рукава. – У нас и так нервы шпагатные нужны, на каждой планёрке. А тут ещё этот свалился. Незапланированный. Перекати-поле... Ездят по районкам, гонорары сшибают, пьяницы...

– Что ж теперь! – поднялась со стула ни капли не расстроенная Бронислава. – Небось, и в других местах работа есть. Получше вашей. Доброго здоровьичка вам.

– И вам не хворать! – охотно попрощалась с ней женщина.

[[[* * *]]]

Через минуту Кеша спускался вместе с Брониславой по высокой, как на корабле, занесённой снегом лестнице.

– ...Бездар-р-рность! – возмущался он, приостанавливаясь на ступеньках то и дело. – Дремучая женщина – этот ваш ответсек: жуть во мраке. Как только приехал, говорю девицам в редакции с самой обольстительной улыбкой. С неотразимой, между прочим: «Кто из вас готов накормить меня по высшему разряду?» А ответсек, эта Махно пресловутая, шапкой замахала: «Ха-ха-ха! Тут у нас птицы без... голоса! Женщины без сердца!» Нашла, чем гордиться.

– А цветы? – деловито подсказала Бронислава. – Ещё – цветы без запаха.

– ...И потом, разве я у них сердце просил? Хоть у одной?! – жаловался он Брониславе, не слыша её и держась за перила. – Я даже своё предложить не успел! Если мне не изменяет память, речь шла исключительно о вкусной и здоровой пище, не более того. Ты же меня знаешь... Нет, так отстать от жизни! Представь себе: они тираж до сих пор хлопают на двух плоскопечатных машинах!.. Ты представляешь? Представляешь?

Бронислава охотно кивнула ему два раза подряд.

– Каменный век! Сидит, понимаешь, всякое убожество, – не унимался он. – Кретины пресловутые. Их просвещать и просвещать ещё – тысячелетиями!.. А если меня сюда по направлению прислали?! Для борьбы с поголовным невежеством? Что тогда?

Он поскользнулся, но удержался на ногах:

– Пр-р-роклетье... А если бы меня сам Коновалов из края к вам направил?! На укрепление? В связи с новыми веяниями? Под государственным строжайшим секретом?

– А что же ты ей сразу не сказал? – поразилась Бронислава. – Что под секретом ты?

– Им я докладывать – не обязан! – заносчиво вздёрнул подбородок Кеша. – Обойдутся. Разве она – редактор? Она не мой уровень.

На улице вьюжило. Разгулявшийся низовой ветер всё усиливался. Он уже обдавал лицо сухим колючим снегом, взлетая над дорогой, и припадал опять к млечному и сплошному течению быстрой позёмки. Бронислава с тревогой подумала, как бы нос её на ледяном ветру не начал синеть. Кеша взял её под руку.

– Бездар-р-рность! – громко ругался он. – Нет, какие у них причины для такого самомнения? Ты мне можешь объяснить?! Можешь или нет?

– Кеш, – ласково сказала Бронислава, решив сегодня же выбросить крем «Снежинку», хотя там оставалась ещё половина. – Кеш! Ты погоди, погоди. Может, тебе в Сельхозуправление сходить? К Ильшину? А?.. Глядишь, там скорей устроишься. И зачем тебе в этой редакции работать? Ну, на кой ляд она тебе сдалась? Я у них пять минут только посидела, мне прям дышать плохо с сердцем стало: и бумага у них прееет, и машины – плоские. Плоские, как эта – бегаёт там одна, с мослами обтянутыми... И чего только я там не наслушалась!

– Чего наслушалась? Про меня? – сразу насторожился Кеша.

– Ну... Разное.

– Говори! – приказал он.

Бронислава, досаду на себя, стала объяснять нехотя:

– Да работают они – все в дыму, как при заморозках. И сами бледные, вроде уж морозом убитые. Одно слово: табашники. С виду только культурные, а на самом деле... Молотят, чего попало, даже не поймёшь. Ой, голова кругом до сих пор идёт, от разговора-то ихого дымного... Тьфу. Ничего хорошего в этой редакции нету: я сразу поняла. Кеш, ну зачем ты туда, к ним, стремишься?

«Не выкину, – вдруг попутно решила она про «Снежинку». – На пятки лучше измажу. Небось, не посинеют».

– Ну, разве можно на человека так орать, Кеш, как в этой редакции орут? – рассудительно продолжала Бронислава. – ...А как она тебя за галстук волокла? Батюшки-светы! У тебя же глаза, Кеш, прям все наружу вылезли. И я за тебя так испугалась! Думаю: «Всё: удушила, зараза. Ты погляди: чужого, моего молодожёна схватила и галстуком насмерть в одну минуту удушила! Халда зевластая». А ещё образованная считается.

Она глянула на Кешу, чтобы проверить: говорить ей дальше или уже хватит. Он, отворачиваясь от ветра, шевелил бровями – одобрительно и гневно. Тогда Бронислава охотно кивнула сама себе:

– ...Ну, вот! Только, думаю, из загса пришла, в редакции на минутку, замужняя, присела – и что? – всплеснула она руками. – Тут же вскакивать, к Нюроньке Зайцевой этими же ногами, что ль, назад бежать? Свидетельство о смерти тебе оформлять? Тем же числом?...

Кеша поперхнулся. Она крепко стукнула его кулаком между лопаток. И попугала ещё:

– А если бы удушила? Вот смеху-то было бы! Ведь стыда, Кеш, потом не оберёшься. Стали бы мне в глаза всю жизнь тыкать: «Вон! Это она – которая на полчаса замуж выходила!» А про тебя знаешь, чего скажут? Скажут: «Пожалели его! Удушили сразу, чтоб с Бронькой не мучился». Народ, он ведь у нас, в Буяне, такой: ох, насмешник – весь народ у нас!..

– Не задушила бы. Я поэтому удавки не ношу, – поразмыслив, сказал он. – У меня галстук на резинке. Мне его Хрумкин подарил. Со своей шеи. На мою.

– Не-е-ет, Кеш: галстук, конечно, галстуком, а лучше в Сельхозуправлении тебе работать. Чем в редакции... В Сельхозуправлении люди – серьёзные. Почтенные все. В возрасте. Там ведь свиристелок-то всяких близко не держут! Плоскодонок-то разных... С бедными-то грудями.

Кеша вдруг остолбенел и шумно задышал. Глаза его запылали гневом. И щёки побагровели.

– Ты что? – растерялась Бронислава.

– Какое такое Сельхозуправление!? Какой ещё Сельхознавоз?! Я же – художник! – потряс он её за плечи. – Я в Топчихе два месяца художником работал. По ходу жизни.

Они снова пошли вдоль улицы.

– Тогда ещё с Сонькой-керосинкой жил, – нервно уточнил Кеша.

– А в Повалихе? – вдруг вспомнил он, останавливаясь ещё раз. – Я же плакаты в клубе целый месяц рисовал! Даже забор частично покрасил. Розовой краской... С Ленкой-козявочкой жил, помню. В подсобном помещении.

– Ну вот, может, они тебе, в управлении, чего по художеству и подыщут! Подсобное чего-нибудь, – с готовностью подсказала Бронислава. – Мы и пришли как раз. Тебе только зайти осталось.

Кеша неприязненно стал рассматривать тёмное бревенчатое здание Сельхозуправления, круглую заснеженную клумбу перед ним, похожую на огромную ватрушку, и казённый яблоневый сад – деревья за забором стояли, будто в деревянных подстаканниках, защищённые дранкой от ночных зайцев.

– Эх! Будь что будет. Чего хочет женщина... – громко заявил Кеша.

И тронулся было с места. Однако тут же озаботился:

– А чего она хочет, она и сама никогда не знает, – попятился он. – Парадокс!

– Иди давай! – Бронислава толкнула его в спину кулаком.

– Ты, слушай! Потихе. Рука у тебя... Нет, это не женщина, а метательница какая-то. Я что тебе – ядро, чтобы запускать меня в трудовую жизнь таким резким образом?

– Давай-давай, – рассмеялась польщённая Бронислава. – Я на лавочке подожду. Только сядь от него подальше там, от Ильшина. А то он не любит. Они там весь день трезвые бегают. Бумажки наперегонки таскают. Я сама видала, не один раз! Ильшин пьяного духа капли не терпит. Они, Ильшины, такому, как ты, из своей посуды дома-то, у себя, напиток не дадут. Из гостевой чашки только. Хоть и из нарядной, а всё ж – не из своей. Чтoб чужой дух бы ни во что в жизни не проникал... Ты уж не дыши там на него. На Ильшина.

– А что? Пахнет? – поразился Кеша.

– Ничего, не сильно...

– Махнули в гараже по сто шестьдесят шесть грамм, и уже всё село чувствует... Ну, дер-р-ревня!

– Сядь, в общем, подальше.

– У меня заедалка в кармане валялась где-то. Мятная... Хм, нет заедалки! Придётся отложить визит.

– Не придётся. Иди.

[[[* * *]]]

Бронислава смела варежкой снег с лавки – с той, которая стояла за клумбой. И устроилась, чтоб не мело в лицо. С длинной доски почёта передовики, в лёгких рубашках и летних нарядных платьях, счастливо глядели на Брониславу сквозь летящий снег, щурясь от жаркого солнца. А с такой же длинной доски, «Вы служите, мы вас подождём», улыбались остриженные наголо парни, одетые потеплее – в фуфайки. Лобастый и весёлый, Витёк победно махал ей с фотографии рукой, в которой была зажата полосатая косынка самой красивой и самой тонкой девушки Буяна – Ксенечки Макаровой. И Бронислава помахала ему варежкой из метели тоже.

– Ничего, – успокоила она сфотографированного Витёка насчёт Ксенечки. – Родит – раздается: никуда не денется. Выправится!.. Зато без тебя она на танцы не ходит. Дома всё кого-то вяжет, Вить. Вязельным крючком. Да заочно на сырного инженера учится, не перестает. Вот.

Она сунула руки в рукава пальто и ссутулилась, пока никто не видит: так сидеть было и теплей, и уютней.

– Бронь! – прокричал кто-то из метели.

Макарушка Макаров, начальник гражданской обороны, стоял по ту сторону клумбы с красной папкой под мышкой.

– Ты чего не в Заготзерне? – удивился он.

И Бронислава выпрямилась так, что помолодела:

– Вот, Макарушка, прохлаждаюсь!.. – засмеялась она от радости. – Около сада нашего сижу. Помнишь, яблоньки-то мы в пионерах сажали? Я копала яму, а ты мне в капюшон воды из банки налил. Я и не заметила: полил ты меня, как яблоньку... А я думаю, чтой-то за офице-

рик такой молоденький, в унтах да в военной фуфайке, мне издалёка кричит? А это ровесник оказывается! И дочка у него – невеста... Распуржилось как, не сразу видать.

– Витьку написала? Насчёт народной дружины? – Макарушка сдвинул мохнатую волчью шапку на затылок.

– Ну! Как только, так сразу!

– Вернётся – ротой в ней командовать будет. Мы теперь, в ГО, народное ополчение укрепляем!

– От этих, что ль? – сияла Бронислава, запахивая полы синего пальто потуже – для красоты. – Забываю...

– От тех, которые города захватили. Цены только на всё повышают, кожу с людей живьём дерут. Слой за слоем. И свет, и тепло у городских поотключали, чтоб денег побольше из них вытянуть. Они по-культурному называются – олигархи, по-западному – бизнесмены. А по-старому, по-нашему – заграничники, да и всё. Вон, в Ключах да в Шерстобитове всю власть они скупили и абрекам за деньги перепродали. И наши теперь у абреков – в батраках все... Они же прописываются везде за взятки, абреки. Таким образом, Бронь, города и сёла наши оккупируют! Потом звериный закон свой устанавливают для нас, для жителей коренных: рабовладельческий. Как для туземного населения.

Брониславе было приятно, что Макарушка говорит о серьёзном и самом главном – с ней, с одной, как с многолюдным колхозным собранием. Вот, стоит, не уходит... И от признательности она волновалась, воодушевлялась и хорошела.

– Слыхала я! Что впроголодь в Ключах-то местные стали жить, не пикни, – вспомнила Бронислава. – И режут наших, и стреляют, и девок местных портят. Ой, это ведь меня Зинка Коробейникова нарочно сбила! Азеры да азеры. А они пизтнесмены по национальности, называется!.. А Нина у нас давно раскусила: это русских нарочно без зарплаты везде оставили, чтоб они с должностей своих ушли. А потом начальники продают их, должности, по дешёвке, любим, кто с деньгами заявится. Такой вот переворот по всей стране идёт... Нет, Москва-то куда смотрит, Макар? Совсем безглазая, что ли, она сделалася? Вон, и дороги нам ценами большими перекрыли: что железные, что по воздуху. И живут людишки наши, как опята на пеньке. С места-то уж больше никто не сдвинется: не на что им.

– Москва весь этот закон для нас и установила. Апартеид – закон называется! – с удовольствием пояснил Макарушка и засунул красную папку за пазуху, довольный своей политической грамотностью. – Апартеид в отношении коренных народов шестой части суши! В интересах международной олигархии... Измена там опять произошла, в Москве-то!

– Ну, теперь вся Россия – как изба незапертая, нарастхлебянь стоит. И что за бандитов завтра на нас нашьют, даже не разберёшь, не знаючи, – засокрушалась Бронислава. – А ведь всё на твои плечи упадёт, Макарушка. На оборонные. Любая банда богатая.

Макарушка всё топтался. И тогда Бронислава спросила поскорей, чтобы он дольше не ушёл:

– А вот в город ты ездил на неделю, что же – молчал в нём всё время? Там, Нина сказывала, за такие речи в кутузку каждого кидают.

– Не молчал, Броня! Но говорил я эти речи в общественной бане, в парной, перед голым нашим народом. Там доносчику к телефону долго бежать. Пока он, голый, банщика докричится, пока ему кабину с одеждой откроют, я уже его взглядом запеленговал и к заключительной части лекции перешёл... По три бани в день обходил! Чтобы народу разъяснить положение дел... У городских от плохой пищи мозги консервируются при жизни, они – как дети: им всё подробно растолковывать приходится.

– Какую ты тактику разработал! – изумилась Бронислава. – Ну, голова!

– Не я. А Гражданская оборона теперь всему голова, – сказал он без прежнего подъёма – то, что без устали твердил на каждом колхозном собрании, перед правлением. – Дружины должны быть повсеместно. Которые свой народ защищают. И всё.

– А чего делать-то в ней надо? Витьку? В дружине твоей?

Макарушка засмеялся:

– Всё, что скажем!.. Его в армии учат, чего с захватчиками делают. Он знает, зелёный берет.

Потом добавил, помрачнев:

– У нас денег больших нет. И не будет: мы ни анашой, ни Родиной не торгуем. Зато нравственность есть. Вековечная.... Обороняться от дурных денег чужих придётся, Бронь! Того гляди, землю из-под нас, как в Ключах, выдернут. Тогда – хоть в небушке живи... Опять отставать её пора настала, землю нашу.

Бронислава оглянулась на спокойный казённый сад – огромный, неподвижный, овеваемый пургою, будто кисеёй.

– Вот, Макар, – назидательно сказала она. – Не примотали бы к яблонькам нашим дранку, и зайцы бы всю кору обгрызли с них догола. И каких яблоков от сада покалеченного тогда ждать?! А?.. Разве же можно допускать, чтоб кожу-то с нас живьём сдирали, как с городских да с ключевских? Нет. На нас идут заграничники – а мы пограничники тогда везде будем. И против ихого одного от нас тыща выйдет. погоди! Витёк наш вернётся – и оборонимся, – успокоила она Макарова. – Может, ещё и погоните паразитов-то этих, христопродавцев, от Буяна – и до самой границы.

– А куда не денешься, Бронь: деньгами воевать мы, русские, не можем: нам остаётся – кулаками... Ну, ничего! Если все разом распрямимся, разве мы иуд богатых не вышибем? Разгоним. И с большим ускорением.

Он снял волчью шапку, сбил с неё снег, сильно ударив о колено, и нахлобучил снова. Бронислава же задумалась.

– Вот, и войны нет, – а война кругом нас идёт, – сказала она.

– Да... Кто только на Россию нынче не накинуся, – охотно поддержал её Макарушка. – Слыхала, как Дальний восток захватывают? Рисовой водкой дешёвой, в пакетах, весь Приморский край забросали... Ох, протрезвеют мужички после время. В ярме в китайском.

– А против водки-то как бороться? – растерялась Бронислава. – Оно наверно и не придумано. Разве только в рукопашную...

– Против водки? Как против химического оружия!.. Странные вопросы, вообще-то, задаёшь, Кочкина. Эх, ты: броня крепка и танки наши быстры!

Но налетевший ветер взвихрил с клумбы снег, осыпал снова и Макарушку, и Брониславу, и кружащееся снежное марево скрыло их друг от друга.

– Ну, привет ему передавай! Витьку... А я к Ильшину иду, – говорил невидимый Макарушка уже издалёка.

– Насчёт чего? – ласково кричала ему в слепой снежной пустоте Бронислава.

– Насчёт фи-нан-сиро-вания!

– Так он, поди, не да-а-аст!

– Даст! Договорились! Общее районное собрание про дружину всё решило! – долетало из пурги. – Подписать осталось. Дело-то святое... Яблоньки прикрыли, а людей не прикроем? Прикроем! А то какие мы хозяева у себя будем? Да никакие!

– Ладно, коль то! – кивала и кивала ему, невидимому, Бронислава со своей стороны клумбы. – Ладно! В добрый час!

И не сильно верила: «Неужель и к нам кто сунется? Себе на погибель?..» А потом улыбалась, пряча лицо в воротник: «Ну, пускай, пускай попробуют. Не плутали они ещё в наших-то

лугах. В прорубях вверх ногами не бултыхались, эксплуататоры. Процведают, значит, лиха... Нет! У нас места строгие – у нас не больно-то: не забалуешь».

[[[* * *]]]

После времени Бронислава вдруг обеспокоилась. В прошлый раз Макарушка сказал: «Витьку вашему взвод даём! Решили». А в позапрошлый про отделение написать велел, размышляла она. Теперь что-то про роту говорит... Это понижают Витька, иль повышают всё время?

Однако Макарушка, с красной папкой подмышкой, сделавшись видимым на миг, уже толкал плечом дверь Сельхозуправления. И снежная пыль взвилась снова до самого неба.

– У Антона спрошу, – утирала она ладонями лицо, мокрое от снега, словно умывалась. – Он отслужил, понимает... А выжит-то как! Прямо света не видать. Ух! Сижу как в стакане с молоком.

Бронислава пригорюнилась и ссутулилась снова. «Вот, мужняя жена я опять, повторно, не вдовая никакая. Макарушка-то и не знает... Ладно, пускай люди ему про меня скажут. А он пускай – удивится».

И тут же осердилась на себя: «А чего ему замужество моё? У него жена вон какая. Фельдшерица всё же учёная: в халате в белом. С хлястиком... Нет, что уродилась бабёнка, то уродилась: вся больница, конечно, в неё влюблённая, – грустно радовалась Бронислава за фельдшерицу. – И женихов у ней на койках разложено со всего района – полно. Рядами. С любой болезнью выбирай: какая больше понравится... До сорока лет всё как девка красная она! Хоть и бледная, без румянца... И училась на четвёрки, и мух в учебниках не рисовала... Сроду положительная она была! Не отрицательная».

– Да у нас дети вот-вот поженятся! – спохватившись, одёрнула она себя со всею строгостью. – Разлыбилась ему, давно женатому, до маленького язычка, до самых кутних зубов... Ну, чудная. В школе лыбиться-то надо было, когда вместе учились! А не мух рисовать до самого звонка...

Но опять Брониславе было неловко за себя: и что уж так она навстречу-то всем летит, и душа её летящая не знает ни оглядки, ни окорота? Не хитрая какая-то душа досталась! Беда, да и только...

Тем временем вся метель прилегла вдруг к земле. Она змеилась понизу, посвистывая. А Витьк снова победно махал с фотографии полосатой косынкой.

– Вот и породнимся, может, с Макарушкой, – грустно качала головой Бронислава. – Ой, как ножи-то по сердцу тогда заходят! Батюшки-светы, боюсь я что-то. Иль ничего, притерплюсь?.. А, притерплюсь: у меня свой теперь есть! Городской. Образованный всё же. И с фасоном он. Не так себе.

Она посидела смиренно, глядя на Витька. Потом спросила его негромко:

– Вить! Другую, может, найдём? А? Торопиться-то зачем? Видишь, время военное и у нас настаёт... Ну, чего ты в эту упёрся? Не ещё в какую? И что она тебе, мёдом что ль намазанная, Ксенечка-то Макарова?.. Ты послужи пока что, послужи! А там тебе, может, командир какой опытный и подскажет. Мол, эта штучка-то бабья – она ведь у каждой есть, не у ней одной. Все девки с ними, с такими штучками, на каблуках по шоссе бегают. И у всех они, штучки, одинаковые, у всех – не плохие: как орденские подушечки... Женись ты хоть на какой, не прогадаешь!

Вот так бы вот в армии Витьку кто-нибудь объяснил. По-военному. По-культурному. Так, чтоб он приостыл.

Бронислава вздохнула было с лёгким сердцем. И прищурилась тут же насторожённо: а вдруг чужую из армии привезёт? С крашеной головой? Ух, как сядет она у окошка, да как начнёт ногти пилить, с утра и до вечера! Рашпилем-то своим. Курящая какая-нибудь. Надымит, хоть топор вешай...

И она увидела, как на яву: вот и потолки в её доме – не белые, а закопчённые, будто в бане чёрной. И содрогнулась Бронислава от ногтевого несусветного скрежета. И поморщилась от резких запахов из пузырьков, перебивающих вокруг все запахи чистоты и свежести.

– ...Нет уж, лучше тощая, да буянская! – решила она раз и навсегда, ударив себя кулаком по колену. – Я ведь всё перетерплю, любое родство и даже разлюбое. И Макарушке улыбаться отучусь. Пускай женятся!.. Ох, только бы теперь этот самый командир с пути бы мне Витька не сбил! Вот чего. А то как наплетёт ерунды всякой. Про орденские-то подушечки... Командиры, они ведь какие опытные есть, по бабьей части! Даже чересчур. Парнишкам-то молоденьким разве это на пользу – знать?

Потом, поглядывая на двери Сельхозуправления, Бронислава приободрила сына – насчёт дружины:

– Ну, воевать в Буяне, если что, надо будет сильно, да недолго. Тут сама земля наша их съест, денежных-то аспидов этих! Со всеми потрохами. А мы ей поможем. Все поможем, Вить! Даже не сомневайся. У нас и старухи-то – вон, какие жилистые!.. Не считая Корбейничихи, конечно. Нюня она и есть нюня. А остальные – все стреляют, как надо!..

И, разобравшись во всём, Бронислава стала сидеть бездумно, как барыня, – отдыхая полностью на дне метели, кружащей до небу. А когда сильно жмурилась от снега, то белое движение становилось похожим на холодный яблоневого цвета, накидываемый на неё ветром щедро, охапками.

[[[* * *]]]

Кеша вышел вскоре, довольно потирая подбородок. Он натянул вязаную шапку с важностью. Затем сказал, торжественно разводя руками, с того самого места, где стоял недавно Макарушка – через белую, будто творожную, клумбу:

– Надеюсь, ты не забыла, что сегодня день нашей свадьбы? Если мне не изменяет память, мы отныне муж и жена!

Он поиграл оттуда бровями для завлекательности. И тогда, ни о чём не спрашивая, Бронислава встала и повела его в магазин. Она купила три бутылки белой: чтоб и для Нины с Антоном. А потом ещё одну: на опохмелку без бражки. И Кеша засунул их все во внутренние карманы своей куртки, отчего живот его стал казаться огромным и кривым.

Придерживая бутылки обеими руками, в безлюдном переулке Кеша начал приплясывать в метели и напевать, дурашливо заглядывая в глаза Брониславе:

<s>«Остался у меня
<s>На память от тебя
<s>Портрет твой, портрет
<s>Работы Павло Пикассо!..»

И всё поигрывал бровями, притопывая в такт. А Бронислава шла с ним под руку, рядом, и смеялась, и ей было хорошо так идти, шурясь от снега, всё время сбиваясь с шага, поскользываясь и приноравливаясь к Кешиним рывкам и остановкам.

– Это художник такой был, Пабел Пикассо, – с удовольствием пояснил он. – То есть, Павел. Тьфу ты, Павло! Да, Павло... Ты его не знаешь.

– Не из Повалихи случайно? – пыталась отгадать Бронислава. – Из Шерстобитова? Да?

– Нет. Он выходец из этого... Но не уроженец, это точно! – сообщал Кеша сквозь летящий снег. – В общем, до сих пор никто не знает, где он родился. А он сам уже – того: дуба дал. По ходу жизни. Представляешь, для истории жалость какая? И спросить не у кого!.. Спросить же надо было вовремя, по-человечески: «Эй, ты..» Нет, пока не подскажешь!.. Он, вообще-то, нерусский был, Павло этот. Скрытый хохол!.. Наполовину – скрытый хохол, наполовину – мессианец. Покорил Москву! Как все мессианцы. У них так принято... Она вообще только им

покоряется, Москва. А остальные для неё – отбросы общества. Я поэтому туда не еду. Лучше быть первым в Буяне, чем вторым в столице родины. Для меня быть вторым – большое западло! Ну – для меня лично...

– Умный ты какой, Кеш... Погоди только про мексиканцев, пускай живут, где хотят. А чего тебе Ильшин-то сказал? – не выдержала она.

– Проницательный человек этот Ильшин! – растягивал удовольствие Кеша и с восхищением крутил головой. – Ой, интеллюю, я те дам!.. Конечно, я умею себя вести: причёсался, поправил галстук. Нарисовался перед ним – хрен сотрёшь! А он пронзил меня насквозь, всевидящим сельскохозяйственным взглядом. И сразу же почувствовал, что у меня высшее образование. Даже диплома не спросил... Представляешь, а если бы спросил? Пришлось бы три часа объяснять, как я его потерял. По ходу жизни.

– Врёшь! – обрадовалась Бронислава. – Что ж ты раньше про диплом не говорил? Я бы Нине сказала. А то они с Антоном думают, что у них одних в дому дипломы-то эти есть! И Витьку бы в армию я написала. Ты на кого учился?

– На кого, на кого. На себя!.. Помнишь, я тебе говорил про удар в район головы? Ну, в районе ресторана? Вот и диплом тогда уплыл... Но что может добавить мне какой-то диплом?! Когда есть сам я! Вот он – я! Принимайте меня таким, какой я есть! Или вам казённая бумажка важнее человека?! Этого только кретины, кстати, не понимают. Причём, повсеместно. А Ильшин – исключение!

– Кеш, ну ты всё равно восстанови. Всё-таки документ, – настаивала Бронислава. – Какой-никакой, а может пригодиться.

– Поздно, поздно, – завздыхал, покачивая головой, Кеша. – В газетах, кстати, писали, но ты не читала, конечно: мелкие институты тогда все расформировали. И слили. В университеты. И вот, «остался у меня на память от тебя...». Я, между прочим, даже в университетской общаге полгода нелегально жил! Поступил на журфак, но его тоже сразу расформировали... А комендант у них, в общаге, рыскал! Ну, зверюга... Не пил, главное, принципиально. И там один пресловутый очкарик засел к экзаменам готовиться и заперся изнутри. А трое ребят с новой водкой в свою комнату попасть не могут. Парадокс! А двери там, знаешь, какие? Серёдка из двойного картона с фанерой. Но мы же – не знали. Всё же – крашеное! А кем дверь лучше всего выбивать?

– Батюшки-светы! Тобой, что ль? – переполошилась она.

– Правильно, мной. Я же солидней всех. Разогнали меня – и мной ударили. И дверь пробилась точно в форме человека! Я на свой фанерный трафарет в комнату рухнул. Под ноги очкарику. С него даже очки соскочили: он меня так быстро не ждал... А остальные с водкой в этот проём друг за другом входят, входят. Очкарика по очереди обнимают – соскучились всё-таки в коридоре. Поют: «Так будьте здоровы!» Поют: «Живите богато!» «А мы приезжаем!» – поют. «До дома, до хаты...»

– Кеш! Они же тебя об дверь-то – расшибли, небось? Расплющили, небось, всего, дураки.

– Ничего подобного, я выпил и восстановился. Уже через двести грамм... Но, представляешь, этот комендант меня вычислил, – не слышал её Кеша. – По силуэту дыры! К дыре всех по очереди приставлял. Искал, кто с дырой полностью совпадёт. Я нарочно, между прочим, раздувался, чтоб не совпасть. Воздуха полные лёгкие набирал, чуть не лопнул. Нет, пр-р-роклатье: всё равно совпал!.. Ну, меня же ни с кем не спутаешь, правильно? Пресловутый такой комендант был. Жуть во мраке... Устроил мне неожиданный конец университетской нелегальной жизни, зверюга.

[[[* * *]]]

– ...Отгадай, кем меня берут? – наконец спросил он Брониславу.

– Кем? – затаила она дыханье и приостановилась.

– Оператором! На птичник... Но я же ему сразу дал понять, этому Ильшину, что я – личность творческая! Так прямо и сказал: «Как человек проницательный, вы должны хорошо представлять, кто перед вами: я – птица высокого полёта, мне нужна работа, где можно сохранить себя для творчества. Я – мастер слова, между прочим. Мастер плакатного пера. Мастер кисти, карандаша. И отчасти – ластика». А Ильшин мне сразу: «Птица?! Вижу!» «Ваш высокий полёт, – говорит, – определяется невооружённым глазом, сразу. Не сомневайтесь». «Есть, – говорит, – у нас место именно такое: для вас! Очень ответственное. Эта работа только вам по плечу». ... Там, оказывается, ничего делать не надо: конвейер! На птичнике. Механизация!.. Нет, ты представляешь? Я же образованный человек, это за версту видно... Проницательные деревенские люди, они образованным пришельцам с большой земли всегда рады, между прочим. Как своим старшим братьям. Мы для них – находка. У меня же западный уровень понижения! Современный!..

– Ой! Ой, помру, – прикрыв рот варежкой, смеялась и смеялась Бронислава. – Оператором!.. Щас помру, на месте прям, и не встану...

– Чего смешного-то? – не понимал Кеша.

– Да я ничего, – присмирела Бронислава. – Пусть оператором. Я – сельская. Я любой труд уважаю... Ты мне хоть кем будь. Начнёшь оператором, а там, может, где место хорошее освободится.

– Что значит «хоть кем?»! Тебя что, и это уже не устраивает?! Быть женой оператора?! – приостановился Кеша. – Ну, знаешь. Запросы у тебя.

– Кеш, да у нас там дядя Паша Струков работал, старичок трухлявенький. С четырьмя классами.

– ... Значит, он не справлялся с современными механизмами! – посуровел Кеша. – Без надлежащего образования.

– А чего там справляться-то? – вытирая варежкой повлажневшие от смеха глаза, рассудила Бронислава. – Помёт-то чистить, что с четырьмя классами, что с высшим образованием: всякий сумеет.

– Какой помёт?! – взревел Кеша.

– ... Курячий, какой же ещё, – притихла Бронислава. – Там другого нету.

Кеша свирепо оглядел её с головы до ног, крепче сжал бутылки на животе и вприпрыжку кинулся вперед, в метель, летящую сплошной стеной.

– Кеш, ты погоди, – неловко догоняла его Бронислава в снежной круговерти. – Кеш! Сапоги же у меня эти... как шагреньевые прямо. Жмут и жмут...

– Сволочи! – с чувством говорил он на бегу, пряча лицо за ворот «болоньки». – Сказал же Ильшину, что я без творчества себя не мыслю? Я ему про дело. А он – про механизацию. Жирно им будет... Завтра! Завтра же – в газету! Устроюсь в редакцию, ну я ему закачу парадокс. Этому крестину. Я ему дохнуть не дам. Замучится фельетоны про себя читать, по ходу жизни. Пускай узнает, на что по большому счёту способен пишущий и беспощадно рисующий человек!

Он резко остановился, и Бронислава едва не налетела на него.

– Я тебе говорил, что я проработал весь испытательный срок в «Сельских зорях»? Ну, помнишь, я тогда ещё с Галькой-мотыгой жил? – нервно спрашивал он. – Красивая такая женьшень. С ресницами. Говорил, по-моему... У неё много ресниц было. В два ряда. Одни свои, другие наклеенные. Она в них из драмкружка пять лет назад со сцены убежала. Чтоб не отняли... С тех пор не снимает. Её не научили, как... Хлопает ими без остановки. Казёнными ресницами. Когда казённой метлой на базаре вдоль рядов метёт... Такие ресницы вдвойне глаза от пыли защищают...

– Кеш! – потянула его за рукав Бронислава. – Ну что ты весь так раздёргался-то?

Ей захотелось поцеловать его в щёку, сизую и мокрую от снега, но она постеснялась:

– Кеш, завтра всё будет хорошо. Вот увидишь!

[[[* * *]]]

Однако завтра не принесло ничего хорошего.

Седовласый редактор, высокий и сутулый, слушать Кешу не стал, а подобрал ноги в дорогих зимних ботинках под стол и сразу попросил документы. С минуту он изучал единственную запись в «трудовой». Потом вернул её и напряг морщинистые мешочки под глазами.

– Год назад вы были приняты к Сахарнову, в соседнюю районную газету, и там вас не оставили.

– Да, я в «Сельской нови». Трудился. Тоже. Успешно. Весьма! Но... Внезапно...

– Зачем? – чеканя слова, спросил редактор. – Зачем вы обещали Сахарнову проломить голову топором?

Кеша задохнулся от возмущения:

– Я? Топором? Да это не я! Он, Сахарнов, работать никому не давал, вечно заглядывал и заглядывал. Такая привычка у него, над душой стоять, когда пишут! Ребята сразу говорили. Вы их лучше спросите! Мало ли что наплетёт какой-то пресловутый редактор! Вы, как проницательный человек, не могли не заметить, что Сахарнов... Зануда он!.. Но я не мог себе этого позволить, тем более – проломить: я там был вместо женщины в декрете!

– Так, так... – барабанил редактор пальцами по столу. – Так, так...

– А Гриша Зобнин срочный материал писал и нервничал. Ну и сказал: «Если он ещё раз заглянет, я проломлю ему голову топором». А Сахарнов под дверью стоял и подслушивал. Да, у него же привычка такая, у Сахарнова, подслушивать! Причём, не левым ухом – он левым слышит, – а правым, глухим. У него в правом отит завёлся, если вам не изменяет память. Разве он не поделился с вами? Своей болью?

– Болью? В правом?

– В правом... Не я это, а Гриша Зобнин, зав отделом писем! А Сахарнов – на меня: «Я взял вас вместо беременной женщины, а вы – не соответствуете!» Парадокс!

Полное бескультурье обнаружил. Притеснил по половому признаку... И Гриша ему говорит: «Это я – вам, а не он – вам!» А он сразу к Грише поворачивается правым ухом – и принципиально не слышит!.. Это же не я был!!!

– Вы! – разоблачительно повторил редактор. – Меня о вас предупреждали. И учтите: вас хорошо запомнили не только в «Сельской нови». Вы – летун! Обыкновенный летун. Испаряющийся после первого же аванса.

– Н-ну, ёлки... У нас с Гришей просто голоса похожи! Меня же оттуда – за другое. За одну творческую смелость и за два творческих простоя! Я был не понят! А топор – это только слабый повод!.. Хотя ничего, кроме топора, этот Сахарнов, конечно, не заслуживает. И было бы, между прочим, справедливо, хряснуть его обухом по тупой башке с разными ушами... Ну, он ещё дождётся. Своего парадокса. Вот увидите, Анатолий Спиридоныч. Это я вам обещаю!.. Я, между прочим, не одного начальника сместил! По ходу жизни. За всяческое кривое исполнение прямых обязанностей! И не считаться со мной, тем более – не верить в мою искренность, я бы не советовал никому!

Редактор встал и выпрямился.

– К сожалению, у нас мест нет, – сказал он величественно и непреклонно.

– Даже беременных?.. – растерялся Кеша.

– Что – беременных?

– Мест?

– Никаких. К тому же... Своих талантов у нас некуда девать... Они подрастают, а вы... Вы нам никак не подходите. М-да, никак.

– Да вы что, совсем уже? Того? – обиделся Кеша и покрутил пальцем у виска. – Вы бы сначала поразмыслили, а зачем же наобум?! У вас ведь ответсекша – ни в звезду, ни в красну

армию, и даже более того: не пришей кобыле хвост! А в отделе писем вообще сотрудника нет! Одна какая-то несчастная заведующая! Совершенно субтильная... С бедными грудями...

– Освободите кабинет! Или я вызову милицию!

Редактор положил уверенную костлявую руку на трубку телефона.

[[[* * *]]]

Шесть дней Кеша горевал, а на седьмой, после обеда, бражка кончилась. Кеша оделся и вышел на улицу. Он брёл по селу, подняв воротник куртки, вдоль занесённых снегом домов. Мелкие собачонки вились под ногами, тявкали и отбегали. С гулом проносились мимо машины, и тогда долго кололо лицо колючей снежной пылью. Стылое белесое небо нависло над селом.

Кеша свернул в переулок и засмотрелся на пёструю курицу, неподвижно стоящую на одной ноге возле навозной кучи. Прошло пять минут, десять – курица так и не шелохнулась. Только ветер слегка шевелил её перья. Кеша заинтересовался и подошёл к курице поближе. Выругавшись, он легонько пнул её, тяжёлую, как камень. Та проскользила на боку, и Кеше показалось, что она тихо зазвенела, уставившись в небо пустыми глазницами.

Румяная щекастая женщина в коротком полушубке и тугих синих гамашах, шедшая мимо с ведром золы, сказала про курицу:

– Глаза-то ворона, поди, выклевала, – и посмотрела на Кешу с любопытством.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.